

РМ  
У 76

*Талина Усова*

**КЕЛЛОМЯКИ,  
Колокольная Гора**







Обитатели келломякской дачи 1945–1948 годов.  
*Слева направо:* Вова Усов, Альба, мама (Э. С. Литвин), Иришка,  
позади стоит Галя Усова.

ГАЛИНА УСОВА

# КЕЛЛОМЯКИ, Колокольная Гора



Санкт-Петербург  
2017

УДК 82-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
У76

**Усова Г. С.**

У76 Келломяки, Колокольная Гора. — СПб.: Издательство  
ДЕАН, 2017. — 104 с.

ISBN 978-5-9909072-2-5

УДК 82-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9909072-2-5

© Издательство ДЕАН, 2017

# ЧАСТЬ I

## КЕЛЛОМЯКИ (1945–1948)

*Келломьяки, Колокольная Гора,  
Но звенят теперь на ней одни ветра,  
Так звенят, что все сжимается в груди,  
Но блестят теперь на ней одни дожди.  
Но сверкают только молнии с небес,  
Но качается один печальный лес.*

*Все равно не услышать колоколов,  
Все равно не подобрать звенящих слов.  
Подожди-ка, отдохни-ка до утра,  
Келломьяки, Колокольная Гора.*

Теперь поселок называется Комарово, и, наверное, это правильно. Старое финское название устарело. Но в памяти оно живет, как живут послевоенные дни 1945 года.

### МЫ ЕДЕМ В КЕЛЛОМЯКИ

Мы — это папа, мама и я. Вовку мы оставили дома с бабушкой. Мы едем, чтобы посмотреть летнюю дачу, которую горисполком выделил для семьи моего папы.

Домик расположен в каком-то загадочном месте под непривычным для уха названием *Келломьяки*. На дворе десятое июля 1945 года — вроде бы половина дачного сезона уже позади. Но дело в том, что всего два месяца тому назад отгремела страшная война, которая в истории получила название Второй мировой, она безжалостно нарушила весь привычный уклад жизни. Нас всех папа отправил на Урал, в город Молотов, подальше от войны, несмотря на энергичные мамины протесты, а сам добывал электроэнергию для осажденного Ленинграда.

Мы вернулись домой только через два с половиной года, в феврале 1944-го, и были счастливы. Все лето 1944 года мы с наслаждением гуляли по любимому городу, радостно вспоминая полузабытые названия улиц, набережных, мостов, убеждаясь, что они дождались нашего возвращения, хотя некоторые здания и были тяжело ранены фашистскими снарядами и бомбами. Я и не вспоминала, что летом мы всегда жили на даче. И вдруг в середине 1945-го, уже после полного окончания этой страшной войны, оказалось, что мы поедем на дачу, да еще на настоящий морской берег!

Тут было чему радоваться.

Мы с мамой сидели на заднем сиденье ЗИСа, а папа — впереди, рядом с шофером Василием Федоровичем, который вел машину. Мы с мамой вдвоем сочинили веселую песенку и распевали ее под шум мотора:

*В тот день в Келломяки  
Приехали бяки,  
Бяки и шалуны.  
Им отдых был нужен,  
Который заслужен  
После большой войны.*

Здесь все было на месте, кроме слова «бяки» — какие же мы с мамой бяки? Только для рифмы было поставлено, зато какая рифма! А остальное все — правда.

— Интересно, — задумчиво сказала мама, ни к кому в особенности не обращаясь, — что это за название такое — Келломяки? Оно ведь, наверное, что-нибудь означает?

— Колокольная гора, — неожиданно откликнулся на ее вопрос Василий Федорович, и все очень удивились. Не тому, что наш водитель знает перевод финского слова, он ведь был из петербургских финнов, а тому, что он впервые во время нашей поездки раскрыл рот и при-

нял участие в разговоре. Был Василий Федорович хмур и молчалив.

Я уже представила себе высокую гору, густо-голубую от покрывших ее лесных колокольчиков, как в стихотворении А. К. Толстого («Что глядите на меня, темно-голубые?»), как он добавил, не сводя хмурого взгляда с дороги: «Мяки — по-фински гора, келло — колокол». И опять умолк, опустив глаза на дорогу, обдававшую автомобиль толстым слоем пыли: ведь тогда Приморское шоссе еще не было заасфальтировано.

— Как интересно! — обрадовалась мама. — Что же это за колокол такой был?

— Нормальный колокол, — в голосе Василия Федоровича послышалось снисхождение. — Каждый час время исправно отбивал, вот какой. Часов-то у мужиков ни у кого не было. Вот им и сигналили — когда вставать, когда со стадом выходить, когда обедать.

А машина наша все неслась дальше и дальше, к неведомым Келломякам. Дорога была совершенно свободной — ни встречных автомобилей, ни обгоняющих — настоящий рай для водителей. Вот миновали Сестрорецк, за последними домами — большое озеро. Хорошо бы искупаться — становилось жарко, но надо ехать дальше.

— Оллила, — сказал папа, когда миновали синюю табличку с названием. — Дальше Куоккала, а потом и Келломяки.

Название Куоккала было знакомо. Мне рассказывали, что здесь когда-то жил великий русский художник Репин, а рядом с его имением обосновались другие известные люди, например, Корней Иванович Чуковский с семьей. Мои родители как-то на днях съездили сюда: поглядеть на то, что осталось от дома Репина после того, как там похозяйничали фашисты. Но от него практически ничего не осталось. Так что, сказали мне папа с мамой, вернувшись из той поездки, я могу не жалеть, что меня в тот раз не взяли с собой.

— Съездишь в Куоккалу после, когда дом восстановят, — убежденно пообещали мне тогда.

И вот теперь мы проехали мимо длинного забора, за которым что-то зловеще чернело...

Куоккала осталась позади, слева от машины широко протянулся залив, а справа мелькнула синяя табличка.

— Вот и Келломайки, — с облегчением вздохнула мама.

Машину остановили, меня как самую мобильную отправили проверить, что написано на синей стрелочке. Я с трудом прочла написанное и вернулась к своим спутникам смущенная:

— Это не Келломайки. Это какой-то... Ах-ва-най-нен.

— Что такое? Говорили, после Куоккалы, — заволновалась мама.

— Ну, значит, нам дальше, — пожал плечами папа. — Поехали!

У следующей синей таблички опять остановились. Для верности папа сам пошел вместе со мной, и мы с ним прочитали:

— Уусикюля.

— Что еще за номера? — рассердился папа. — Что еще за Кюля такая?

— Ясно какая, — успокоил его шофер. — Кюля — это деревня. Ууси — новая. По-фински — Новая Деревня. Все понятно.

— Кроме одного, — вздохнула мама. — Где же эти Келломайки?

Посоветовались и решили ехать дальше. Ведь назад всегда можно успеть повернуть! Проехали вперед не так уж много — снова синяя табличка, и — ура! — на ней начертано: «КЕЛЛОМЯКИ».

Мы вылезли из машины и огляделись. Слева по ходу ее плескали серые воды залива. А справа от пыльного песчаного шоссе отходила дорога, уверенно поднимающаяся кверху — вот она, Мяки! Что же касается колокола, то в нем, наверное, нужда отпала — теперь местные жите-

ли всегда могут посмотреть на собственное запястье, где поблескивают ручные часы. Но где эти жители — кругом пусто и безлюдно?

На углу шоссе, по которому мы приехали, и идущей в гору песчаной же дороги возвышался среди густых зарослей малинника добротный двухэтажный дом, выкрашенный свежей красной краской. Из-за угла его неспешной походкой вышел человек с висящим через плечо ружьем, жестким взглядом окинул нашу компанию:

— Вам что здесь надо?

Папа выступил вперед, чтобы вкратце объяснить, что нам надо.

— Ленсоветовские дачи? — переспросил человек с ружьем. — Но это не здесь. Вы их проехали.

— Как проехали? — удивился папа. — Вот, здесь в первый раз по этой дороге указатель — Келломаки. А здесь что же? — указал он на красное здание.

— А здесь детский сад будет. Только детишки еще не приехали. Так я здесь сторожем. Чтоб хулиганы чего не напортили. Так тут народу все равно никого нет. А вы ежайте опять назад. Хотите, я с вами в вашу машину сяду и укажу, куда ехать?

Папа и Василий Федорович охотно согласились. Папа пересел к нам с мамой на заднее сиденье, а человек с ружьем втиснулся рядом с шофером. Обратный путь занял совсем немного времени.

— Вот, сюда сворачивай, — скомандовал человек с ружьем, когда мы приблизились к уже знакомой синей табличке с надписью «Уусикиюля».

— Ой, так мы же здесь были! — удивилась мама. — Знать бы, так свернули бы!

— В этой Новой Деревне!

— Да вот, не знали! — улыбнулся ей человек с ружьем.

Мы двинулись туда, куда призывала нас синяя стрелочка, проехали по проселкам, потом еще раз свернули в ту же сторону — и очутились на уютной лесной полянке,

на краю которой стоял небольшой розовый домик. Две комнаты, как оказалось, да еще с кухней и верандой.

— Здесь у финнов были пастушьи домики, — пояснил наш проводник.

В этом розовом домике мы счастливо прожили летние каникулы целых четыре раза.

А пока что, благополучно закончив осмотр предоставленной нам дачи, мы поехали на городскую квартиру — готовиться к переезду.

### **В Келломаяхах наше детство**

*В Келломаяхах наше детство  
Среди солнечных полян,  
С грозным дотом по соседству —  
Там все то, что не обман.*

*Там в лесу, зарей умытом,  
Средь желтеющих маслят,  
На пеньке, снарядом скрытом,  
Пара боевых гранат.*

*Как легко взбежать на кручу  
К прежним ягодным местам,  
В заграждениях колючих  
Тьма малины зреет там.*

*Летний воздух гуще, чище,  
Хмель свободы в голове.  
Хоть снаряды здесь не свищут,  
Их осколки — на траве.*

*Нынче тихо здесь и гладко,  
Крыши дач в ветвях видны,  
Только я смотрю украдкой —  
Не мелькнет ли след войны?*

*След недожитого детства, —  
Где в душе ему конец?  
Видно, нет такого средства,  
Чтобы зажил тот рубец!*

В то первое лето на даче со мной жила моя подруга Наташа. Ее мама, тетя Лида, работавшая хирургом в Институте переливания крови (и во время блокады не раз спасавшая жизнь моему отцу), часто к нам приезжала, а отпуск проводила с нами на даче.

Вокруг простирался могучий лес, где мы с удовольствием гуляли и собирали растущие в изобилии грибы и ягоды, за которыми, особенно в 1945-м, никто не охотился: было просто некому. В ленсоветовском поселке кроме нашей дачи была занята лишь одна. Только по воскресеньям наезжал сюда с городских предприятий народ в грузовиках — немного отдохнуть. Но эти приезжие охотнее лежали себе на приморском песочке и вовсе не жаждали сгибать спины над черничными зарослями. Нам гнуть спины не требовалось. Мы с Наташей, взяв по бидончику, углублялись в ближайший лесок, садились на мягкую кочку и живо, не сходя с места, наполняли черникой каждую свой бидончик. Но даже это казалось нам слишком тяжким трудом. Помнится, Наташка мечтательно протянула, когда мы с ней пошли в этот «наш лесок», как мы его любовно называли, — не за черникой, а для того, чтобы по поручению бабушки набрать корзинку сосновых шишек для самовара:

— Вот бы ягоды были величиной с эти шишки: мы бы тогда живо полную корзину набрали — и свободны!

Когда стала поспевать малина, ее у нас тоже набиралось порядочно. Тут мы иной раз отваживались дойти по шоссе до таблички «Келломяки», где уже не дежурил давешний «человек с ружьем», который когда-то помог нам отыскать нашу дачу. Но дети сюда так и не приехали, и красный дом стоял пустой, окруженный богатым,

тоже красным, малинником, который мы жадно обирали. И я тогда не подозревала, что отходившая от шоссе вверх, в гору, дорога ведет прямехонько к Дому творчества писателей, который через много лет станет моим любимым пристанищем... Но об этом после.

К красному дому мы ходили редко. Больше нас привлекал другой богатый малинник, столь же безлюдный. Его никто не посещал, кроме нас с Наташей.

Против нашей дачи поднимался небольшой пригорок, куда вела аккуратная тропинка — она шла к высокой трансформаторной будке, желтеющей среди листвы деревьев.

Возле этой будки так и пламенели густые заросли малинника. По этой тропинке, у подножья высокой желтой будки, иногда проходили редкие прохожие, в основном одинокие, — те, кому нужно было пройти через лес на железнодорожную станцию. Не задерживаясь, они на ходу срывали наши, как мы считали с Наташкой, ягоды, что было для нас обидно. Но особенно обидно было, что в самой середине пригорка колючая проволока окружала целый участок земли с ярко-красными спелыми ягодами, которые дразнили нас своей недоступностью.

Взрослые не раз предостерегали нас с Наташей, чтобы мы ходили осторожнее мимо этого пригорка и ни в коем случае не задевали руками колючую проволоку: они утверждали, что в огороженном участке могли остаться невзорвавшиеся снаряды или мины. Мы возражали: если уж отходившие немцы приготовили для нас мины, они не стали бы огораживать их колючей проволокой. Но нас не слушали.

— Все-таки держитесь подальше от этой проволоки, — говорили нам.

Редкие прохожие сторонились многослойных заграждений, обирая растущие сбоку, за пределами проволоки, кусты.

Наконец мы с Наташкой придумали, как можно помочь друг другу, и решились.

Стоя с наружной стороны заграждения, одна из нас рукой подтягивала верхнюю проволоку повыше, а другой рукой опускала нижнюю проволоку до самой земли и держала так до тех пор, пока ее подруга не пролезет в образовавшееся отверстие. А тогда уже вторая девочка точно так же оттягивала для первой проволоку второго, внутреннего ряда. И потом обе оказывались на более безопасном пространстве, где спокойно ощипывали самые соблазнительные ягоды.

Повсюду на открытых, прогреваемых солнцем местах росли крошечные кустики, напоминающие брусничные. Позже ягодки на них покраснели и сделались очень похожими на бруснику, но на вкус оказались жесткими и неприятными. Взрослые запрещали нам трогать их. А мой шестилетний братишка считал эти растения «фашистской брусникой», которую немцы в этих местах специально разводили, чтобы мы травились, и никакие убеждения не заставили его отказаться от этой нелепой теории. Теперь, когда миновало много лет, эти ягоды по-прежнему там водятся, но никто не считает их смертельно опасными, хотя и не пробует на вкус.

Еще многое напоминало о прогрохотавших кругом боях. Совсем недалеко от дачи мы обнаружили в лесу настоящий дот (огневую точку), а в нем несколько продолговатых деревянных ящичков — мы решили, что в них недавно лежали снаряды, готовые с визгом полететь в наших бойцов. Один из этих ящичков с плотно закрывающейся крышкой мы притащили к своему дому и использовали в играх — уже не помню, в каких.

Однажды мы вдвоем гуляли в лесу с гостившим у нас моим двоюродным братом, десятилетним Юрой. Мы вышли на симпатичную, совсем мирную полянку и вдруг увидели в самой ее середине на широкой аккуратно срезанной поверхности громадного пня две ручные гранаты, будто тщательно нарисованные в каком-нибудь учебнике.

Мы так и замерли на месте, затаив дыхание, не в силах произнести ни звука. Первым опомнился Юрка.

— Гляди-ка, настоящие, — прошептал он. Я заметила, что он здорово побледнел. — Нет, ты не бойся, я знаю, как с ними обращаться. Надо только снять кольцо и отбросить ее подальше, чтобы там взорвалась!

И он сделал шаг к проклятому пню, но тут я опомнилась.

— Я тебе сорву кольцо! — закричала я во весь голос. — Не смей туда и близко подходить! Ну! — я дернула его за рубашку. — Кру-гом!

Юрка, наверное, и сам испугался, несмотря на свои знания. К тому же он привык слушаться меня как старшую. Во всяком случае, он покорно пошел со мной. Мы потом много лет вспоминали, как я тогда его спасла. Хотя, возможно, спасти было не от чего. Кто его знает? Они так спокойно лежали рядышком на этом пне. Трудно поверить, что такие аккуратные, красивые предметы несут смерть. Но не испытывать же их было...

\* \* \*

*Вдруг трансформаторная будка,  
Желтея в зелени густой,  
Меня преобразила будто:  
Бегу извилистой тропой.*

*Где боль, тревога и усталость?  
Где прожитого горький след?  
Преображенье состоялось,  
И мне опять пятнадцать лет.*

*Что я в душе своей носила  
Тем летом, становясь собой?  
Здесь первой ненависти сила,  
Намек на первую любовь.*

*Как пес, сбиваемый со следа,  
Средь опустелых дач брожу.  
Мое былое — рядом где-то,  
Но я его не нахожу.*

*Все ближе, ближе я как будто...  
Но где же прежний домик наш?  
Ах, трансформаторная будка,  
Ты изменила весь пейзаж!*

*Но здесь соприкоснулась все же  
Я с той, ушедшею собой, —  
И в чем-то стала я моложе,  
И в чем-то встала над судьбой.*

## ДОМ КОМПОЗИТОРОВ

С первого же нашего ознакомительного визита общее внимание привлек большой белый двухэтажный особняк на самом берегу моря. Если остановиться там, где табличка указывает от шоссе в глубину леса, и поглядеть на море, увидишь этот дом, украшенный многочисленными балконами и верандами, ослепительно сверкающими в солнечные дни. Здание, казавшееся приютом каких-то необычных людей, сразу привлекло мое внимание. Кто же тут может жить? Дом казался необитаемым. Да так оно и было, как скоро выяснилось: очевидно, прежние хозяева его покинули. Мы часто ходили к нему: песчаный берег вокруг стал для нас излюбленным пляжем. В первое наше лето в Келломяках тут было безлюдно и тихо, за исключением того дня, когда мы вместе с моей подругой Наташей впервые пошли на залив купаться. Мы тогда устроили на берегу настоящий танец дикарей, сопровождаемый громкими криками, но потом вели себя более сдержанно.

Не помню уже, как мы узнали, что в белом доме на берегу будет Дом творчества композиторов. Дом привели в жилое состояние летом 1946-го, но еще до конца лета он хранил свою опустошенность и покинутость.

Однажды в самом начале лета 1946 года к нам в дверь дачи постучали незнакомые мужчина и женщина и спросили, не сдадим ли мы им комнату на лето, так как у них есть курсы на питание в Дом творчества композиторов и они хотят найти себе жилье поблизости от него. Сдать комнату при нашей дачной тесноте было никак невозможно, зато мы направили этих неожиданных искателей жилья на другой конец поляны — в такой же тесный дачный домик, где жила женщина с дочерью моего возраста. Соседка как-то пожаловалась нам, что ей страшно жить вдвоем с дочкой далеко от человеческого жилья. Так что она с радостью приняла этих неожиданных дачников, и все, в том числе хозяйка, благодарили нас за эту рекомендацию.

Мы тоже выиграла, получив новых соседей, которые три раза в день ходили мимо нас к композиторам питаться по своим курсовкам и почти ежедневно заглядывали к нам на веранду — пообщаться и поговорить. Говорила, впрочем, одна Софья Давыдовна. Так ее звали: Софья Давыдовна Магит. Ее муж, Ефим Моисеевич, тихий и молчаливый, с несколько нескладной фигурой, являл собой тип послушного и услужливого преданного еврейского мужа. Зато Софья Давыдовна была весьма словоохотлива и говорила сразу за нескольких человек, на что никто не сетовал, потому что собеседником эта дама была интересным. Что же касается Ефима Моисеевича, то тут дело обстояло не так просто.

Однажды Софья Давыдовна пришла почему-то одна. Двухлетняя Иришка, которая в то лето, как и в последующие, приезжала к нам на дачу гостить вместе со своей мамой, двоюродной сестрой моей мамы, некоторое время сидела молча, в недоумении уставившись на гостью, пока наконец не решилась робко спросить:

— А Софий Давыдович придет?

Эта реплика, естественно, вызвала громовой хохот у сидящих на веранде взрослых. А ведь если хорошенько разобраться, это был как раз тот самый случай, когда устами младенца заговорила истина...

Но продолжим о более яркой и разговорчивой половине этого дружественного нам семейства. Софья Давыдовна была музыковедом и много занималась фольклорной песенной музыкой, что сближало ее с моей мамой, изучавшей тексты народных песен. Софья Давыдовна прежде ездила в фольклорные экспедиции и много о них рассказывала. А когда узнала о музыкальных способностях моего брата Вовы, помогла определить его в музыкальную семилетку при Консерватории. Но это было уже после, в городе, а пока что Софья Давыдовна, хорошо знавшая всех отдохавших в Келломяках композиторов, много о них рассказывала, а с иными и знакомила. Появлению новых знакомых много способствовал телефонный аппарат, который где-то к середине лета установили на нашей дачной веранде.

В описываемое время, а именно в конце сороковых годов, связь для живущих летом в Келломяках была довольно затруднительной. Позвонить по телефону можно было только из почтового отделения, а туда приходилось добираться пешком несколько километров.

Наш папа тогда работал главным инженером Ленэнерго. Это означало, что он обязан и в выходной день по вызову дежурного явиться на работу. В самый выходной-развыходной день, потому что такой вызов означал серьезную аварию в электрохозяйстве области и города. Поэтому папа не мог наслаждаться законным отдыхом на выделенной ему даче. Но теперь, когда на внутренней стене нашей веранды заблестел новенький — хотя и старомодный — телефонный аппарат, он имел полное право приезжать сюда в субботу вечером (вспомним, что тогда суббота не была выходным днем!) и оставаться с нами до

воскресного вечера. Впрочем, за все время дачной жизни телефон ни разу не нарушил наш покой ночью, да и днем помалкивал. Зато им часто пользовались некоторые композиторы и члены их семейств, если им требовалось связаться с кем-то в городе по личным делам или по работе. Их приводила к нам звонить услужливая Софья Давыдовна. Так и получилось, что мы перезнакомились с некоторыми обитателями композиторского дома, хотя теперь я помню далеко не всех из них. Хорошо помню жену композитора И. И. Держинского, автора музыки к опере «Тихий Дон», кокетливую даму, которая приходила звонить особенно часто и со значением говорила, опустив глазки до пола:

— Ах, извините, я вас побеспокоила, но мне необходимо позвонить на киностудию: узнать, когда нужно приехать на съемки!

И я смотрела на нее со смущенным уважением, пока та же Софья Давыдовна не поведала моей маме:

— Она ведь снимается в студии документальных фильмов. У нас злые языки говорят, что там снимают фильм об онкологии, а она играет больную!

Вообще Софья Давыдовна часто развлекала нас, умело пересказывая шедевры композиторского фольклора. Например, с удовольствием сообщала, что в нижнем этаже Дома композиторов находится комната, где стоит единственный в доме рояль, из-за которого постоянно происходят целые сражения — кому и насколько владеть этим королем инструментов. А так как считалось, что композиторским детям необходимо постоянно заниматься музыкой, то и дети участвовали в сражениях. Вернее, не сами дети, которые были не прочь побездельничать на каникулах, а их заботливые наседки-мамаши. И еще Софья Давыдовна рассказывала, что одна из стен музыкальной комнаты, обиталища рояля, отгораживает от него ванную и душевую.

— И вот почему, — ухмылялась наш друг музыковед, — сочинения наших композиторов такие водянистые!

Я слушала все эти байки с огромным удовольствием. Как будто бы чувствовала, что с их помощью окунаюсь немного в тот таинственный мир творческих людей, к которому, может быть, когда-нибудь буду принадлежать.

Впрочем, не так уж много было пищи для наблюдений на нашей дачной веранде, где на стене против моей постели висел телефонный аппарат образца прошлых лет. Не случайно я забыла многих приходивших к нам звонить в город. Кроме жены Ивана Ивановича Дзержинского помню разве что жену композитора Прицкера. О ней и ее восхищении моими «холодными купаньями» на радость композиторским женам я написала в рассказе «Хоть одна собака», включенном в мой сборник «Повесть о первой ненависти» (СПб., Издательство ДЕАН, 2015), здесь повторяться не стоит.

Зато пляжем мы владели наравне с композиторами! Именно наравне, потому что все, придя сюда в жаркий летний день, мгновенно раздевались до трусов и жадно подставляли обнаженные спины ласковым солнечным лучам. Пляжное солнце как бы уравнивало всех — и то не совсем. Уютно устроившись на захваченной из дому подстилке, надежно защищающей от обжигающего кожу мелкого, выбеленного солнцем песка, можно было спокойно оглядеться в поисках интересных соседей. Здесь были не только те люди, которые приходили к нам на дачу звонить по телефону. Тут можно было увидеть, например, автора популярных песен Василия Ивановича Соловьева-Седого и его жену, пианистку Татьяну Рябову. Говорили, что дочь у них, девочка лет десяти, — глухонемая. Через много лет мы вместе со случайной попутчицей шли по темной аллее в Комарово: я направлялась к Дому творчества писателей, а она — на дачу к той самой ~~повзрослевшей~~ дочери двух музыкальных талантов, которая, оказывается, тоже была очень талантливой

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
им. М. ЗОЩЕНКО

СПб ГБУК "ЦБС Курортного района"

197706, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7

тел.: 246-24-06

588934 / 1

и с успехом играла первые роли в московском театре глухонемых. На ее комаровской даче живут двое ее сыновей, вполне здоровые ребята. Тогда, в сороковые годы, я не помню, чтобы эта девочка приходила на пляж.

Помню балетмейстера Фенстера с его плотной фигурой, который уверенно передвигался по горячему сыпучему песку. Изредка появлялась на пляже балетная пара — Дудинская и Сергеев. Иногда мелькал молодой балетный красавец Ухов.

Однажды, помнится, какой-то человек бегал по всему пляжу, размахивая клетчатой ковбойкой, и громко кричал:

— Где одежда Чулаки? Кто мне может сказать, где одежда Чулаки?

Сам Михаил Чулаки, известный композитор того времени, уплыл далеко в море, а этот мужчина должен был ему что-то передать, возможно, ту самую ковбойку, которой он энергично размахивал...

В последний год нашего пребывания на келломякской даче, в 1948-м, в Доме композиторов жил московский композитор Кабалевский с сыном моего возраста. Кабалевский, очень высокий сухопарый мужчина, был всегда заметен издали, а его сын обещал в скором времени догнать в росте отца. Однажды мне случилось видеть, как Кабалевский присел на корточки перед рыженьким мальчиком лет семи. Для этого композитору пришлось сложить свое гибкое сутулое тело почти в три раза. Я знала (от той же словоохотливой Софьи Давыдовны), что светло-рыжий мальчик — сын Михаила Чулаки, тоже Михаил. Кабалевский спросил мальчика с хорошим английским произношением:

— Where is your father? (Где твой папа?)

Не помню уже, что ответил Миша по-английски, тоже с прекрасным произношением, но я не могла не восхищаться: маленький, а так владеет английским! Я, конечно, и сама неплохо объясняюсь на этом языке, но ведь я много старше. И мне чем-то понравился этот семилет-

ний мальчик, который уверенно составлял английские фразы, на равных общаясь с известным композитором.

...Незаметно пролетели годы, миновали десятки лет. И вот в яркий солнечный день февраля мы идем по прочному льду Финского залива, гуляем — «трое, не считая собаки»: писатель-прозаик Михаил Михайлович Чулаки, его жена, известный гослитовский редактор Фрида Германовна Кацас, и я. Черного пса неизвестной породы держит за поводок Михаил. Он с удовольствием вспоминает то время, когда маленьким мальчиком впервые увидел этот залив. Тут и я вспомнила давний эпизод с Кабалевским и то, как меня тогда восхитило английское прозвище мальчишки. Миша смущенно усмехнулся, а его жена гордо выпрямилась и радостно покраснела. Ей было приятно, что ее мужа хвалят — не важно, за что...

Прошло немного времени, и Михаила Чулаки его товарищи выбрали первым секретарем правления нашего Ленинградского Союза писателей. Он был дельным, заботливым секретарем, достойно выполнял свои обязанности, его переизбрали. Михаил Михайлович погиб под проезжавшим автомобилем, когда гулял со своей собакой на улицах Колпино, где, наконец, он получил отдельную квартиру взамен комнаты в коммунальной, где прожил всю жизнь. В том помещении, которое теперь занимает Санкт-Петербургский Союз писателей, висит его большая фотография, откуда он улыбается всем нам своей доброй проникновенной улыбкой... А я каждый раз, когда смотрю на фотографию, вспоминаю того семилетнего мальчика, который разговаривал по-английски с высоченным композитором Кабалевским, сложившимся рядом с ним на раскаленном пляжном песке...

Близким другом для нас в те келломякские годы была композитор Стефания Анатольевна Заранек (польского происхождения), удивительно живая, эмоциональная женщина, на редкость остроумная собеседница. Она жила в композиторском доме со своей матерью и котом

Кузей. Однажды я пришла зачем-то на территорию композиторов и увидела, как Стефания Анатольевна стоит под огромным толстым кленом и уговаривает своего кота слезть. А он вцепился когтями в кору и пребывает в глубокой задумчивости — то ли послушаться разумных советов хозяйки, то ли лезть дальше, раз уж начал. В конце концов он недовольно спрыгнул на землю. Мне тогда имя Кузя для кота пришлось очень по вкусу. С тех пор у меня в доме водился не один Кузя.

Наша дружба началась с того, что Заранек, как и прочие, приходила к нам на дачу позвонить по телефону. Но вскоре она стала заходить к нам вместе с Софьей Давыдовной и ее мужем — просто побеседовать. Однажды, помнится, Стефания Анатольевна с целой компанией своих приятельниц шла к нам, когда уже стемнело. Очевидно, дело было в августе. Недавно прошел сильный дождь, и на ведущей к нам дороге с привычной теперь надписью «Уусикиюля» разлилась огромная глубокая лужа.

— Стойте! — веселым голосом скомандовала Стефания Анатольевна. — Мы же на берегу лужи!

Это утверждение почему-то прозвучало очень смешно. Хотя и не совсем было понятно, что делать дальше. Пришлось бы повернуть назад, оставив надежду добраться до телефона и связаться с городом, не возникни на берегу той лужи я с электрическим фонариком в руке.

Как я там оказалась, да еще с осветительным прибором, столь нужным в тот момент? Очень просто. В то лето (кажется, это был 1947 или 1946 год) у меня появилась подруга, жившая неподалеку от нашей дачи на самом берегу залива, на верхнем этаже недавно открывшегося в Келломяках продуктового магазина. (А до тех пор приходилось все продукты, включая даже хлеб, возить из города.) Так вот, моя новая подруга Софа с большой семьей жила на верхнем этаже этого магазина. Ее родственники работали тут продавцами ради того, чтобы

иметь летнюю дачу для детей. Софа часто ходила ко мне и засиживалась допоздна. А мне хотелось приучить себя не бояться вечерней темноты, и я охотно вызывалась провожать подругу до самого магазина. На обратном пути, когда я оставалась одна, мне было очень страшно, я вздрагивала от каждого шороха ветвей на ветру, от каждого стука моих ног о древесные корни, но пыталась преодолеть страх.

В описываемый вечер я взяла с собой фонарик исключительно из опасения попасть по колено в какую-нибудь лужу — и он отлично послужил всей двигающейся к нашей даче компании, после чего ее предводительница Заранек с облегчением вздохнула и убежденно заявила:

— Все равно тут неверно написано название. Какая еще Уусикюля? Надо было назвать — улица Усовых!

Она ведь не знала, что Уусикюля — это Новая Деревня.

Однажды я взяла с собой на пляж толстую английскую книгу в тяжелом темно-красном переплете — один из томов детской энциклопедии, которую мне подарил папа, и разложила эту книгу на одеяле в раскрытом виде на той странице, где юному читателю рассказывалось об известных английских писателях. Рассказ сопровождался портретами в круглых рамках. Подошла Заранек, наклонилась к моей книге, поинтересовалась, что это такое. Я объяснила.

— Интересно, — одобрила Стефания Анатольевна. — И что же означает это слово? — Она ткнула пальцем в заглавие — WRITERS.

Для не знающих поясню — писатели. Первая буква не произносится.

— Какая прелесть! — восхитилась моя собеседница. — Оказывается, писатель по-английски — вример!

На волейбольной площадке, которая находилась через шоссеиную дорогу от пляжа, Заранек проявила себя как ловкий, умелый игрок, хорошо отбивала мячи. Прицеливаясь, она вскрикивала:

— Беру, беру! Ой, беру!

И действительно ловко отбивала летящий мяч. Но иногда вдруг закрывала лицо обеими ладонями и отчаянно кричала:

— Нет, не беру! Не беру!

В курортной зоне, как и во всех дачных местах под Ленинградом, частенько бывает сыро, дождливо, холодно. В ненастные дни все могли завидовать Стефании Анатольевне, обладательнице толстого стеганого халата, сверху покрытого темно-красным атласом с рассыпанными по нему золотыми звездами. Только через много лет у нас в продаже появились красные стеганые болгарские халаты, а в сороковые годы в стеганый халат, да еще такой красивый, куталась одна Стефания Заранек. Причем ее голову и шею прикрывала белая шерстяная шаль плотной вязки. У меня до сих пор сохранилась ее фотография в этом летнем наряде, сделанная пляжным фотографом — из тех, каких тогда множество бродило по пляжам Финского залива в поисках заработка. Ведь фотоаппараты в те годы были немногим доступнее, чем красивые стеганые халаты...

Как-то моя бабушка, снедаемая любопытством, решила спросить у Софьи Давыдовны:

— Интересно, сколько же лет этой вашей Заранек?

Та, чуть заметно передернув плечами, ответила:

— Так ведь ей уже давно сорок два!

На самом деле Стефания Анатольевна Заранек относилась к тем женщинам, для которых возраст не имеет никакого значения.

Летняя дружба продолжалась и в городе. Осенью Малый оперный театр поставил на музыку Заранек балет со сказочным сюжетом «Чудесная фата». Стефания Анатольевна подарила нам билеты на спектакль, и бабушка повела нас с братом в театр. Правда, на семилетнего Вову самое сильное впечатление произвела настоящая живая лошадь, которая участвовала в спектакле. Особенно вос-

хищался мой брат этой лошадьё, когда мы вышли после окончания спектакля на улицу и увидели там ее. Но это не важно. Важно то, что мы видели балет, музыку к которому написала наша хорошая знакомая.

## ДАЧА РАДИОКОМИТЕТА

Если уйти с пляжа и перейти через шоссе — тогда еще, вспомним, не заасфальтированное, — попадешь к тому самому указателю, призывающему в Новую Деревню, то есть Уусикюле. Сделаешь несколько шагов по открывшейся между кустами и деревьями улице, которую Стефания Анатольевна все мечтала переименовать в честь нашего семейства. Тут перед тобой окажется такой же выбеленный двухэтажный дом с множеством веранд и балкончиков, как Дом композиторов. Та же Софья Давыдовна объяснила нам, что это дача Ленинградского радиокomiteта. Туда приезжали отдохнуть некоторые артисты — кто на несколько дней, а кто и на более долгий срок.

Радиокomiteт в годы войны и в течение нескольких следующих лет имел для населения города особо важное значение. Вся информация о ходе войны (как и о ее долгожданном окончании!) передавалась по радио. Надо помнить, что телевидения еще не существовало. По радио объявляли о начале и об окончании воздушной тревоги. По радио узнавали все важнейшие новости. По радио звучали и познавательные, и развлекательные, и художественные программы. Вот почему сразу после войны дача была передана в распоряжение Ленинградского радиокomiteта, чтобы работникам радио было где отдохнуть.

На территории этого дома находилась хорошо утоптанная волейбольная площадка. Ежедневно (или почти ежедневно) натягивалась сетка и шло сражение двух команд. Одной из самых активных его участниц была композитор Стефания Заранек с ее вечными эмоциональ-

ными «Беру, беру!» и «Ой, не беру!» Благодаря ее дружеской заботе игроки принимали и меня — в ту партию, где не хватало волейболистов.

Надо признаться, что играла я из рук вон плохо. Не могла как следует рассчитать «беру» или «не беру», неумело мазала по летящему на меня мячу, слишком слабо подавала. Но меня каким-то образом терпели. Я даже пробовала тренировать подачи на лужайке около нашей дачи, но из этого мало что выходило.

Однажды, несмотря на мое участие в игре, одного игрока все-таки не хватало, место слева от меня пустовало. Я вдруг услышала, как судья почтительно позвал кого-то, идущего мимо по дороге:

— Становитесь с нами, Дмитрий Дмитриевич! У нас как раз одного игрока не хватает!

Дмитрий Дмитриевич? Неужели Шостакович? Со всем недавно у нас на даче с участием вездесущей Софьи Давыдовны шел разговор о том, что известного композитора Дмитрия Шостаковича одолевает несправедливая злобная критика. Однако поселковый совет и кто-то там еще выделили ему большую двухэтажную дачу наверху, на горе, он ее арендовал на пять лет и живет там с семьей. А питание, как и наши друзья, получает в Доме композиторов по курсовкам.

Я знала, что у Шостаковича двое детей: дочь Галя, моя ровесница, и сын Максим, ему столько же лет, сколько моему брату. Однажды нам случилось увидеть, как Максим на пляже скачет по песку на одной ножке и повторяет нараспев:

— А мой папа депутат, а мой папа лауреат!

Получив предложение занять пустующее место на площадке, очень высокий человек со столовскими судками в руке (солнечные лучи ярко блеснули на его круглых очках) с серьезным видом задумался минуты на две, потом остановился и так же серьезно, без тени улыбки, согласился:

— Можно, пожалуй.

Все ждали, пока он отходил в сторонку, пока пристравивал в густом кустарнике свои судки, чтобы их не задел шальной мяч. И, повинувшись указанию судьбы, занял место рядом со мной.

Играл Шостакович очень хорошо, умело подпрыгивал и подбегал к летящему мячу, ловко доставал его в воздухе своими музыкальными пальцами и легко шлепал по нему, так что этот мяч плавно уходил от меня в небесной высоте и перелетал к противоположной команде. А композитор тем временем подносил свои длинные ловкие пальцы к самому носу. Убеждался, что все в порядке, потом поворачивал ладони тыльной стороной к себе и осматривал так же внимательно. Мне в тот момент такой осмотр казался смешным: раз взялся играть в мяч, так нечего ладони беречь! Но ведь это вовсе не смешно. Такие пальцы и в самом деле надо беречь. Лучше всего, конечно, было бы не играть в волейбол или футбол, но ведь хочется... Прошло много лет. Как-то раз в одной компании я похвасталась, что играла в волейбол с Шостаковичем. Меня поняли неправильно и спросили:

— И кто же выиграл? Вы или Шостакович?

— А мы играли в одной команде, — объяснила я. — Разве можно играть против Шостаковича?

\* \* \*

Одним из постоянных обитателей дачи радиокомитета был Юрий Николаевич Калганов, известный мне по ленинградским радиопередачам. Он был великолепным чтецом-исполнителем, обладал отлично поставленным выразительным голосом. Ему случалось озвучивать и познавательные, и публицистические, и художественные тексты. В конце передачи диктор объявлял: «Читал заслуженный артист Юрий Калганов».

Не припомню, чтобы нас с мамой кто-нибудь знакомил с Юрием Николаевичем, но он всегда приветливо с нами здоровался, как с хорошими старыми знакомыми.

Однажды мы вдвоем с мамой пошли в ближний лесок за черникой и повстречали там Калганова — он тоже собирал в баночку ягоды. Как всегда, очень галантно поздоровался и все время держался поблизости, ведя светский разговор. Маме на лицо с черничных кустов некстати попала липкая паутина. Она начала с досадой счищать ее носовым платком, а Калганов тут же прочел целую содержательную лекцию об образе жизни лесных пауков. Мама не могла сдержать удивления перед такой неожиданной эрудицией своего собеседника, а Юрий Николаевич с чуть заметным смущением объяснил:

— Мне ведь, знаете ли, приходится самые разные тексты читать по радио, так иной раз кое-что в голову западает...

Калганов, как и я, любил купаться в холодную и дождливую погоду, поэтому мы с ним часто виделись на пустынном пляже, где он обычно в одних плавках выполнял разные физкультурные упражнения. Сразу замечал мой приход и галантно кланялся, даже если в эту минуту лежал на сыром песке. Он отличался великолепным телосложением, его тело было покрыто красивым ровным загаром. Говорили, что он успеваает до пребывания у Финского залива немного пожить у Черного моря.

Моя бабушка, на которую папа и мама оставляли нас, уезжая на месяц в южный санаторий, страшно волновалась из-за моих «холодных купаний» и встречала меня одним и тем же сердитым вопросом:

— Была там у моря хоть одна собака, кроме тебя?

И я с гордым достоинством отвечала:

— Да, там был Юрий Николаевич Калганов.

Однажды мою маму (после их с папой возвращения из санатория) и ее двоюродную сестру Альбу, а заодно и меня, пригласили вечером после ужина в Дом композиторов на весьма оригинальное мероприятие. Калганов предложил прочитать всему обществу «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Книга эта тогда не была широко известна: первое издание вышло в 1928 году, а переизда-

вать ее не спешили. У нас в домашней библиотеке была только вторая книга, продолжение «Стульев». Первую я не читала, хотя знала о ее существовании, так что пошла в Дом композиторов с радостью.

Знакомые встретили нас приветливо и отвели нас на большой веранде, где только что закончился ужин, свободный столик. Калганов, одетый в торжественный вечерний костюм, подошел лично поздороваться и поцеловал ручки у двух сопровождавших меня дам, а мне поднес букет только что срезанных цветов. Столик самого Юрия Николаевича был недалеко от нашего.

Он читал, как всегда, блестяще, с самого начала книги. В особенно смешных местах приходилось останавливаться и ждать, когда зал (веранда) отсмеется. Особенно запомнилось, как смеялись слушатели после выразительной фразы ттеца:

— Отец Федор плюнул — и тоже попал.

После окончания чтения Калганов объявил, что через несколько дней (пока не решено, когда именно) он может продолжить, если народ желает. Публика ответила щедрыми аплодисментами, очевидно, в знак согласия.

Но второе чтение, как и все последующие, так и не состоялось. Может быть, кто-нибудь почему-нибудь посоветовал пока отложить?

Но я была довольна и этим. И до сих пор звучит у меня в ушах хорошо поставленный бархатный голос, как бы серьезно уверяющий, а на самом деле вызывающий неудержимый хохот:

— Отец Федор плюнул — и тоже попал.

## ДОМ ПИСАТЕЛЕЙ

Первое мое посещение келломякского Дома творчества писателей относится к 1946 году. До того я и понятия не имела о том, что подобные дома существуют. Однажды,

когда мы жили на даче в Келломяках, мама сказала мне, что одна хорошая знакомая, которая отдыхает в Доме творчества писателей недалеко от нас, пригласила зайти ее навестить. Я как раз порядком соскучилась на даче, а потому охотно согласилась составить маме компанию.

Мамина знакомая, Екатерина (отчества не помню) Привалова, работала в ленинградском Доме детской книги, даже, кажется, возглавляла какой-то отдел. А мою маму там знали и ценили, потому что она часто писала для их ежегодных сборников статьи о сказках.

Дом творчества, двухэтажное деревянное строение, снаружи был невзрачным и мало интересным. Но я даже затаила дыхание, когда входила — здесь, в этих незатейливых деревянных стенах, живут настоящие писатели, они пишут книги, которые я буду читать! Возможно ли, что и я когда-нибудь стану писать книги, как мне мечталось с самых ранних лет?!

Мы прошли по скучному длинному коридору, деревянные половицы угрожающе скрипели под ногами, как бы возмущаясь: кто это позволил вам, невеждам, запросто проникать в святое место, где живут писатели?

Номер на одной из дверей подсказал нам, где искать Привалову. Мама осторожно постучала в дверь. В ответ раздался голос, приглашающий войти.

За дверью, ведущей из коридора, оказался маленький тамбур. На некрашеной стене внутри этого чистенького тамбура висел голубой рукомойник, а рядом с ним — чистое белое полотенце. Пока мы все это с любопытством разглядывали, с легким скрипом отворилась внутренняя дверь в комнату, и возникшая на пороге хозяйка еще раз пригласила нас войти.

Убранство небольшой комнаты было скромным, но здесь имелось все, что, по моему мнению, необходимо серьезно работающему человеку: аккуратный письменный стол с девственно чистой поверхностью, два удобных стула и застеленная кровать. Из-под зеленого колпака

на столе уютно смотрела электрическая лампочка. Мы, гости, были сразу усажены на стулья, хозяйка комнаты села на кровать.

Разговор сейчас же пошел о достоинствах этой небольшой комнаты, которые мама, естественно, не преминула оценить.

— Неужели здесь каждый живет в отдельной комнате? — поинтересовалась мама.

— А как же иначе? — ответила Привалова. — Ведь сюда вообще-то приезжают работать. Дома часто мешают разные обстоятельства. Семья, дети, телефон звонит. Не всякий писатель может похвастать отдельным кабинетом. А здесь — тишина, покой. Вы обратили внимание на тамбур? Такой устроен перед каждым номером, чтобы приглушать звуки из коридора.

Вот это да! Действительно, все до мелочей продумано, чтобы не мешать людям работать. Да и отдыхать тоже лучше в спокойной тишине, чем в многоголосом гаме. И я вспомнила, как несколько дней тому назад мы с моей одноклассницей Галей Черняк навестили свою школьную учительницу математики в доме отдыха «Учитель» в Куоккала. В то лето Галя Черняк отдыхала с родителями в Куоккала и случайно встретила нашу математичку. Когда учительница узнала, что и я живу на даче поблизости, она пригласила нас вдвоем навестить ее, что мы и сделали.

В одной из довольно больших комнат дома отдыха стояло семь или восемь кроватей впритык одна к другой, что весьма напоминало бы больничную палату, если бы не гул многих голосов. Обитатели этой комнаты шумно общались между собой: кто-то просил кого-то отодвинуться от окна и не загораживать солнце, кто-то звонко хохотал, кто-то упорно допытывался, который час... Наша Евфросинья Никитична, как видно, привыкла к этому многолюдью и обрадовалась нам, придвинула откуда-то две табуреточки, сама села на кровать. Но раз-

говор в таком шуме не клеился, и мы скоро ушли. Я подумала тогда: кто это выдумал — устраивать для отдыха учителей такие условия, они же у себя в школе на переменах находятся в той же обстановке...

И вот теперь здесь, где можно было наслаждаться тишиной и покоем, я думала: неужели я когда-нибудь буду жить в этом доме и у меня будет отдельная комната?

Это был мой первый визит в Дом творчества писателей, и я его запомнила надолго. Когда мне случалось проходить мимо здания, я каждый раз взволнованно, с замиранием сердца, оглядывала его старый деревянный корпус: неужели я когда-нибудь заслужу право здесь жить и работать?

Я так и не узнала, что в этом доме было раньше, при финнах. Впоследствии на том же месте возвели новый Дом творчества, каменный. Как и в прежнем доме, комнаты у всех обитателей были отдельные, и такие же аккуратные крошечные тамбуры отделяли их от коридора, чтобы посторонний шум не отвлекал тружеников от работы. Дом творчества в Комарово стал для меня настоящей мастерской, я написала там очень много стихов и прозы.

## «КОШКИН ДОМ»

*Тили-бом, тили-бом,  
Загорелся кошкин дом.  
Кошка выскочила,  
Глазки выпучила.*

Из детского фольклора

В конце июля или в самом начале августа 1947 года в Келломьяках произошло заметное событие, а именно — силами детей дачников на зеленой лужайке был поставлен спектакль «Кошкин дом» по пьесе в стихах С. Я. Мар-

шака. Мне уже исполнилось шестнадцать лет, и я руководила своими семи- и восьмилетними соседями по даче, была у них как бы главным режиссером, как ни странно.

На самом деле это не было так уж странно. Мечта о том, чтобы поставить такой спектакль и оживить поднадоевшую, ставшую скучной и однообразной дачную жизнь, жила во мне давно. Перед глазами упрямо стоял пример таких спектаклей, в которых я сама участвовала когда-то в девятилетнем возрасте вместе со своими друзьями. Было это за год до начала войны, в 1940-м. Есть под Ленинградом такое село — Рождествено, недалеко от Луги. Случилось так, что целая компания взрослых, которых связывали дружеские узы, сговорилась на то лето снять себе дачи в этой деревне и поселить там своих детей. Родители проводили там отпуска, а в рабочие месяцы приезжали по выходным.

Кстати, теперь никто и не помнит, что после революции 1917 года были отменены прежние дни недели: понедельник, вторник и т. д. Вместо них от воскресенья до воскресенья были «первый день шестидневки», «второй день шестидневки» и так до шестого дня. Таким образом, все дни, кратные шести, были выходными. Именно летом 1940 года опять вернулись к семидневной неделе. Субботние вечера, когда на дачу приезжали папы (и некоторые мамы), чтобы остаться до конца воскресенья, были для нас настоящими праздниками.

Мы (наша компания детей) тоже дружили друг с другом, как и взрослые. Бегали вместе на реку Оредеж, ходили в окружающие леса за грибами и ягодами.

Нас было четверо: двенадцатилетняя Эльга, десятилетняя Наташа, я (девяти лет от роду) и семилетний Сережа. Он был очень застенчивый мальчик, но с нами держался дружески.

Трое моих братьев, один родной и два двоюродных, по молодости лет в равноправные члены компании не принимались. Мои кузены, если сложить число достигнутых

ими лет и поделить пополам, были всего лишь четырехлетними, а о Вовке и говорить нечего: ему совсем недавно исполнился год.

Мы же, четверо старших, если не уходили в лес, то играли все вместе рядом с домом, чаще всего — нашим. (Меня сместила фамилия хозяев нашей дачи — Селедкины.) Играли во всевозможные игры, которые сами же и выдумывали.

На задах дома Селедкиных стояла старая покосившаяся банька. Иногда ее топили, и мама мыла там меня и братишку. Но в другие дни нам, ребятам, был там полный простор. Опустевшая и сухая баня становилась то рыцарским замком, то избушкой бабы Яги, то поездом, в котором мы куда-то ехали.

И вот однажды — я прекрасно помню тот день! — Эльга вытащила откуда-то из закоулков бани старую лопату, подошла к огромному котлу, в котором в банные дни кипятили воду (теперь он, понятно, пустовал), опустила туда лопату и, делая вид, будто что-то помешивает в котле, задумчиво произнесла:

— А давайте-ка поставим пьесу!

— Пьесу? Какую пьесу? — удивились мы.

— Да какую угодно! — Эльга засмеялась.

— Пьесу про старую ржавую лопату и котел с водой? — усмехнулась Наташа.

— А вот и нет! — Эльга серьезно начала нас убеждать. — В этом котле варится каша.

Она сунула лопату в котел и стала делать вид, будто помешивает.

— Есть такая сказка — «Кот, лиса и петух». Галя будет кот, Наташа — лиса, а Сережа — петух.

— Я не буду! — испугался наш застенчивый единственный мальчик. — Я не умею!

— Будешь! — настаивала Эльга. — Сумеешь! Там только четверостишие: «Несет меня лиса...»

— А ты? — засомневалась я. — Тебе нет роли?

— Я буду автор, — успокоила меня Эльга.

Подготовку первой нашей пьесы мы держали в строгом секрете, чтобы сделать родителям приятный сюрприз на выходной день. Кроме маленькой пьески на известный сказочный сюжет мы приготовили целый концерт: декламацию стихотворений и хоровое пение. Было и сольное пение — тут отличалась наша Эльга. С ее голоса я на всю жизнь запомнила песенные тексты «На закате ходит парень» и «Для нашей Чилиты все двери открыты».

Первый концерт удался на славу. Надо было послушать, как застенчивый Сережа тянет нараспев негромким голосом, как бы издали:

*Несет меня лиса  
За темные леса,  
За высокие горы,  
За синие просторы.*

Эльга оказалась права: и смог, и сумел. С тех пор мы каждую неделю ставили новую пьесу, и Сережа никогда ни от какой роли не отказывался. Ему это помогло по-настоящему обрести себя.

В те годы выходил хороший детский журнал «Затейник», содержащий подходящий материал для школьной самодеятельности. У Эльги было много его номеров, и мы пользовались тем, что он предлагал. Но нас было всего четверо. Мы обращались со своим материалом по-хозяйски беззастенчиво: приписывали слова одного персонажа другому, заставляли одного актера исполнять две или несколько ролей, чтобы свести концы с концами. И получалось неплохо.

Мои двоюродные братья Роба и Юра тоже жаждали участвовать в концертах, но в актеры по молодости не

годились. Эльга и им нашла дело. В каждом концерте была декламация стихов и пение. Эти номера почему-то носили название «самодеятельности». Надо было видеть, с какими деловыми лицами, задыхаясь от волнения, бежали к нам в баню на репетицию Юра и Роба, крича на бегу:

— А самодеятельность будет?

Хорошо помню, как Роба читал наизусть «Дядю Степу» и пел «Каховку».

Так мы переиграли многие пьески из журнала «Затейник». Вершиной нашего театрального искусства была знаменитая «Принцесса Турандот» — в детском варианте, разумеется. Принцессу играла Наташа, Эльга была принцем и соискателем ее руки. Я в мамином махровом купальном халате изображала китайского императора. Будучи уже довольно солидными дамами, мы с Наташей частенько вспоминали этот спектакль и от души хохотали, повторяя слова Эльги-принца, которые тот вымолвил, когда Турандот подняла свою чадру: «Какой восторг, какая красота!»

Когда кончилось то счастливое лето, все наши актеры разъехались по городским квартирам в разные концы города, часто встречаться было невозможно.

Я с надеждой ждала следующего лета. Но повторения не получилось: оказалось, что прежних актеров вместе уже не собрать.

Когда мы приехали на дачу в Мельничный Ручей, я начала было приглядываться к детям на соседних дачах: не удастся ли создать из них новую труппу? Увы, эти мечты не могли тогда осуществиться. 22 июня мирная жизнь оборвалась... В эвакуации тоже было не до того.

Весной 1947 года я получила в подарок от моего дяди Шуры двухтомник избранных произведений С. Я. Маршак. Там были и его пьесы. «Кошкин дом» заставил меня снова задуматься о спектакле. Мне было уже шест-

надцать лет, а кругом бегали дети-дачники, в возрасте от трех до восьми. Стихи Маршака — четкие, звонкие, легко запоминающиеся. Почему не попробовать? И я рискнула.

Дети охотно откликнулись на мой призыв. Миловидная восьмилетняя Анечка играла Кошку. Мой брат Вова изображал дворника Кота Василия в своей пижаме в голубую и белую полоску. Я приготовила ему бумажную шапочку с торчащими кошачьими ушами, усы нарисовали чем-то вроде угля, сзади болтался веревочный хвост. Зато он держал в руке настоящую дворницкую метлу, позаимствованную у кого-то из участников спектакля на даче. У остальных действующих лиц костюмы были еще проще. А два бедных маленьких котенка, которые просятся в богатый кошкин дом, так замечательно жалобно тянули свои слова, что им и костюмов не потребовалось, кроме таких же бумажных шапочек с ушками:

*Тетя, тетя Кошка!  
Выгляни в окошко!  
Есть хотят котят!  
Ты живешь богато!*

Очаровательными котятами были наша трехлетняя Иришка и ее пятилетняя подружка!

Наконец, настал день спектакля. Сценой и зрительным залом являлась лужайка, разделяющая нашу дачу и соседнюю — ту, где жили наши друзья, Софья Давыдовна и Ефим Моисеевич. Мы там всегда и репетировали. Представление было назначено на двенадцать дня, но мы начали возиться с приготовлениями с раннего утра. Протянули крепкую бельевую веревку между двумя деревьями, отгородив сцену, повесили на нее два стареньких дачных одеяла — занавес. Сформировали зрительный зал, вытащив на лужайку все имевшиеся в нашем домишке

стулья и табуретки. На одной из табуреток тонкой стопочкой положили программки, заготовленные накануне: «Кошка — Аня. Кот Василий, дворник — Вова» и т. д. Предполагалось, что зрители будут брать себе на память эти программки, исполненные цветными карандашами. А кто же были наши зрители? Ну, конечно же, родители и родственники актеров. Я побаивалась, что зрителей будет маловато, несмотря на то, что на каждой даче ожидалась воскресные гости. Не все ведь солидные люди, приехавшие сюда в выходной день, захотят нарушить свой отдых каким-то детским спектаклем... Но я волновалась напрасно.

Задолго до того, как стрелки часов приблизились к двенадцати, на нашей лужайке начали появляться зрители. И взрослые, и дети, и старики жаждали посмотреть наш спектакль. Не надо забывать, что в те времена на дачах не было никаких развлечений. Телевидение еще не существовало. А ближайший кинотеатр находился в Терийоках, в помещении финской кирхи, не так уж близко.

Я, разумеется, велела актерам пригласить своих родных, но все-таки беспокоилась. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что совершенно неизвестные мне люди заполнили нашу милую лужайку, а многие из них тащили в руках табуретки и стулья! И откуда они могли узнать о таком событии?

Особенно я обрадовалась, когда увидела детей Шостаковича — Галю и Максима. Кто-то даже предоставил им табуретки — от их дачи было бы тяжело тащить свои. Ох, только бы мои актеры не подкачали!

Но они были на высоте. Роли все помнили хорошо, стихи Маршака звонко отскакивали от зубов. Держались уверенно. Случился, правда, некоторый конфуз с шестилетним Димой, который исполнял роль козла. Его жена коза делает ему ворчливое замечание:

*Слушай, дурень, перестань  
Есть хозяйскую герань!*

Козел отвечает возражением:

*Ты попробуй: очень вкусно,  
Будто лист жуешь капустный!*

И тут наш козел Дима почему-то отошел на несколько шагов и опустился на громадный булыжник, который не удалось убрать со сцены, потому что я не располагала подъемным краном. Мальчик немного посидел на этом камне, будто на удобном диване, а потом встал и повернулся к зрителям спиной, чего на репетициях я учила ни в коем случае не делать, помня уроки многоопытной Эльги в Рождествено. А Дима повернулся, и перед зрителями предстало черное мокрое пятно на его серых коротких штанишках.

Как это ни странно, зрители ничего не заметили. Никто даже не усмехнулся, и спектакль продолжался как ни в чем не бывало. И закончился бурей аплодисментов. Но самым большим сюрпризом для меня оказалось то, что все зрители дружно поднялись и на фоне ритмичных хлопков их ладоней я услышала четкое:

— Режиссера! Режиссера!

И пришлось мне выйти в окружении своих актеров и неловко раскланяться...

Мне хотелось использовать еще около месяца летних каникул для того, чтобы поставить с детьми другую пьесу, но ничего из этого не вышло. На первую объявленную мной репетицию пришел один только Дима, а потом и он мне изменил. Словом, театр мой развалился. Но опыт «режиссера» пригодился впоследствии, когда я работала школьным учителем. А воспоминания о Келломьяках навсегда остались в душе.

## Комаровские сосны

*Комаровские сосны  
Строгим строем стоят,  
Как в минувшие весны,  
Как семь жизней назад.*

*Было зелено, знойно,  
Трепыхалась листва,  
И звала беспокойно  
Синева, синева.*

*Ветер, зябкий и знобкий,  
Не смущал мой покой.  
Путь мой ляжет по тропке, —  
Кабы знать, по какой!*

*Было влажно и росно,  
Лесом пахли грибы...  
Не спасли меня сосны  
От судьбы, от судьбы.*

*Все равно с давних пор мы  
С этим лесом дружны.  
Со знакомой платформы  
Снова сосны видны.*

*Все становится просто,  
Дьявол с ней, с сединой!  
Комаровские сосны,  
Вы, как прежде, со мной.*

В более поздние годы, когда я жила в комаровском Доме писателей, я, конечно, вспоминала свое детство и посещала старые места, но все уже там было перестроено и выглядело иначе...

## Осеннее небо

Дни тянет на убыль.  
Дожди все стучат.  
Вот, такие дела.  
Карманное зеркальце с надписью «Суздаль»  
Я возле покинутой дачи нашла.

Вода дождевая в песочном ведерке  
Победно сверкает у самых краев.  
Как пусто, как тихо,  
Как грустно, как горько!  
У ног моих мокрые шляпки грибов.

Из детства тот запах сырых сыроежек  
И вкус кисловатый малины лесной.  
Все так же здесь просека заросли режет  
И домик стоит под высокой сосной.

Какая же скрытая тайная сила  
Все тянет меня в бормотанье дождя?  
Когда ж это было?  
И что это было?  
И что я найду, в этот край забредя?

Когда-то забыла я здесь свое детство,  
Как чей-то совочек в песке позабыт.  
Но если бы в зеркальце это взглядеться,  
Быть может, оно что-нибудь объяснит?

Быть может,  
Вернет его тайная сила  
Сиянье и благость ушедшего дня?  
Я зеркальце «Суздаль» в карман положила...  
Хозяева дачи, простите меня!

## ЧАСТЬ II

### КОМАРОВО

*Почему-то сегодня солнце  
Ярко-алого чистого тона  
Опускалось в грязные воды  
Безутешно ревущего моря.*

*Почему-то море не смело —  
Или попросту не сумело —  
Беспредельную алость испачкать  
И небрежно разлить кругом.*

*Почему-то мне захотелось  
Ненадолго сдержать дыханье  
Перед этим мощным контрастом,  
Столь несвойственным осени зрелой.*

*Почему-то мне не хотелось  
Видеть, как раскаленное солнце  
Окунется в холодные воды —  
Я исчезла в лесу бегом.*

Итак, мы прожили в Келломяках четыре счастливых лета. Последнее было в 1948 году, а в 1949-м папу пригласили на работу в Политехнический институт, и он ушел из Ленэнерго, а потому ему больше не полагалась ленсоветовская дача. Мне в 1949 году было не до дачи: надо было готовиться к поступлению в университет. Несколько следующих лет мои родители снимали дачу в Зеленогорске (то есть в Терийоках), а после купили дом в Роцино.

Время шло, пролетали годы и десятилетия. Позади остался университет. Я вышла замуж, у меня родилась

дочь. И вот сразу после встречи нового 1963 года мой муж, молодой поэт Василий Бетаки, получил в подарок от Литфонда бесплатную путевку в комаровский Дом творчества писателей. В тот самый дом, о котором я мечтала еще много лет назад. Только Келломяки назывались теперь Комарово, в честь академика Комарова. Там был выстроен целый поселок комфортабельных дач для академиков.

Муж, естественно, пригласил меня навестить его. И мне, конечно, хотелось увидеть тот дом, который когда-то пленил меня, пятнадцатилетнюю.

Так что я оставила маленькую дочку на свою маму и поехала. Но того деревянного длинного дома, о котором привыкла тосковать все долгие годы, я не увидела. Вместо него на том же месте красовалось стройное трехэтажное здание, радостно блеснувшее на зимнем солнышке своими стеклами. Мне после объяснили, что это заслуга поэта Александра Прокофьева, по его хлопотам построили новый Дом творчества. У ворот (они были гостеприимно распахнуты: входи, кто пожелает) на садовой скамейке белела чья-то огромная, вылепленная из выпавшего ночью снега сидящая фигура в чьей-то потрепанной ушанке. Подошедший встречать меня Василий тут же с серьезным видом объяснил, что они с поэтессой Нонной Слепаковой вылепили из снега первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей: в благодарность за новое здание Дома творчества. Ну, а менее скоропортящегося материала для вечного памятника себе секретарь пока не заслужил. Против жилого писательского корпуса высилось второе новое каменное здание — столовая вместе с кухней. Там же административная часть и нечто вроде писательского клуба — с пианино и цветным телевизором, каковой был тогда еще редкостью. А немного позже цветные телевизоры уже украшали большие двойные номера.

В те первые дни 1963 года дом почти пустовал. Из сорока номеров были заселены всего пять или шесть. Вот

почему Литфонд щедро раздавал бесплатные путевки молодым писателям, которые еще не стали членами Союза. В те годы писатели смотрели на свой дом как на возможность пожить летом за городом, вроде как на даче. Никто еще не оценил возможности пребывания в зимнем Доме творчества. В мой первый приезд в Комарово после громадного перерыва в том доме, кроме моего мужа, по бесплатной путевке жили только поэтесса Нонна Слепакова, критик и публицист Владимир Иванович Дмитриевский (он впоследствии писал статьи и рецензии о научной фантастике вместе с Е. П. Брандисом, и я с ним хорошо познакомилась), врач Татьяна Шаак, известный московский поэт Евгений Винокуров, автор стихотворения о своем «политическом развитии» в самые юные годы:

*Теперь тому поверят разве?  
Но много лет тому назад,  
Что политически я развит,  
Мне выдал справку детский сад.*

Да еще в тот же день, что и я, приезжала переводчица английской прозы Галина Арсеньевна Островская со своим младшим сыном (у него начались зимние каникулы). Старший, как выразилась мать, «в одночасье заболел» и был оставлен дома. Не раз я впоследствии слышала, как Галя Островская вспоминала, что это именно она придумала возить детей в Комарово на зимние каникулы.

Что стало твориться в Доме творчества вскоре после первого моего короткого визита! В первые дни он бывал буквально переполнен писательскими детьми и внуками в сопровождении мам, бабушек и тетушек, а главное — беззастенчиво нарушалась священная рабочая тишина... Но это беззаконие пока не наступило, и мы, несколько обитателей, спокойно наслаждались тишиной.

Во время обеда произошел небольшой инцидент, когда Владимир Иванович Дмитриевский пересел из-за столика, назначенного ему официанткой, на другое место, где сидели остальные, желая обедать в нашей веселой компании. Официантка сделала замечание недовольным тоном. Владимир Иванович спокойно, но настойчиво объяснил, что он желает обедать вместе со своими товарищами, а не в одиночестве.

— Я достаточно долго пробыл там, где мне указывали мое место, — добавил он со значением, — достаточно долго, чтобы теперь самому выбирать, за каким столом сидеть.

Эти слова произвели впечатление на всех обедающих, за столом немедленно воцарилась тишина, а официантка слегка покраснела и извинилась. За нашим столиком снова все повеселели, хотя об инциденте помнили.

Я поняла суть этого маленького происшествия только вечером, когда вся компания собралась у Василия. (Кстати, в комнате 36, которую больше всего любил Виктор Андроникович Мануйлов, но тогда я этого не знала. Это оказалась первая комната, в которой мне довелось ночевать в Доме творчества.) Итак, мы все собрались после ужина в тридцать шестом номере. Пришел и Евгений Винокуров, и Лева Мочалов, приехавший навестить свою жену Нонну Слепакову. Читали друг другу стихи, болтали о всякой всячине. Винокуров прочел свое «По четвергам — купание детей». Когда он закончил, Вася невинным голосом спросил:

— Сколько же у вас детей, Женя?

Евгений ответил со вздохом:

— Одна дочь.

Заставили и меня кое-что прочесть. Винокуров удивленно вскинулся:

— Как, и вы тоже пишете?

Меня этот вопрос всегда обижал. Муж поднялся на мою защиту:

— Уж скорее я «тоже»!

Дмитревский молча слушал читавших поэтов, а потом начал рассказывать эпизоды из лагерной жизни. Вот почему он в столовой за обедом намекнул, что ему в свое время достаточно долго указывали, какое место ему надлежит занимать! А я и не знала раньше, что он сидел...

Рассказывал он, между прочим, о том, как во время обеда неожиданно получил в свою миску вторую пайку, и раздатчик хмуро ему сказал:

— Иван велел подкормить.

И в течение целого месяца Владимиру Ивановичу выдавали две порции — без единого слова. Но как только месяц закончился и он по уже установившейся привычке протянул миску вторично, ему так же хмуро пояснили:

— Иван сказал — будет.

И еще какие-то прозвучали рассказы, но я их не помню.

Одним словом, сказать, что мне здесь понравилось, было бы недостаточно. День был просто волшебный. Важно, что я почувствовала тогда дружескую теплоту окружающих меня людей, характерную для этого дома. Он просто дышал этой человеческой теплотой и уютом. И я отогревалась душой от всех своих материнских забот, впервые как следует отдыхала.

После того вечера наступил долгий период (а продолжался он почти двадцать лет!), когда я, не получив еще законного права пользоваться благами этого дома, старалась все-таки при каждой возможности приезжать туда в гости к кому-нибудь из своих хороших знакомых. Чаще всего меня просто приглашал к себе кто-то, понимавший, что такое приглашение меня обрадует. А иногда я просто брала «выходной день» от домашних забот, хорошо зная, что непременно найду в Доме творчества кого-нибудь из приятных мне людей — и этот человек тоже будет мне рад. Чаще всего, подойдя в вестибюле к доске проживающих и тщательно изучив ее (фамилии и номера занимаемых комнат), я находила несколько хорошо знакомых. В таких случаях навещала всех своих друзей по очереди.

Я тогда уже порядком печаталась и считала, что в этом доме нахожусь по праву, просто из-за некоторых не зависящих ни от кого обстоятельств законный мой прием в Союз писателей задерживается. И я твердо знала, что непременно получу билет этой организации.

В тот период я бывала в гостях у Жанны Браун, К. В. и Б. Е. Чистовых, Е. Б. Брандиса, А. Л. Андрес, у Гали Гампер, О. Л. Фишман, своих однокурсников Лили Николаевой и Саши Нинова и многих других. Всех тут и не перечислить.

Иной раз меня даже кормили обедом или ужином. Дело в том, что наши писатели пользовались близостью Дома творчества к железнодорожной станции, и, если им надо было навестить своего редактора, они уезжали в город почти на целый день. Тем более, что большинство издательств находилось недалеко от Финляндского вокзала. В таком случае тот, к кому я наведывалась в гости, радовался вдвойне:

— Как хорошо, что ты приехала: у нас как раз сосед по столу отправился в город и завещал нам свой обед! Пошли в столовую!

Если же все соседи в этот день были на месте и не возражали против того, чтобы самим съесть собственный обед, гость все равно не оставался голодным. Ему накладывали целую тарелку винегрета или салата, которые по обычаю выдавали шведским столом, то есть без ограничений, и относили в номер, где еще и кипятильник вставлялся в стакан, чтобы было чем запить.

Помню один случай. Однажды летом, ближе к вечеру, я заехала в Комарово по пути к себе в Рощино. День выдался жаркий, а теперь чуть повеяло прохладой. Народ пошел на ужин. Я договорилась с переводчицей Инной Яковлевной Шафаренко, что она принесет мне в свой номер пожевать что-нибудь, а после мы с ней выпьем чаю — при помощи кипятильника. Она пошла в столовую, а я уселась на скамейку возле входа в жилой корпус,

чтобы во время ожидания подышать посвежевшим воздухом. Мимо меня проходили идущие на ужин, многие из них меня знали и удивлялись, почему я тут сижу, точно сиротка. Они предлагали идти с ними в столовую, и мне уже надоело повторять свои объяснения. Наконец, ко мне подошла Лиля Николаева. Она ничего не стала говорить и спрашивать, а просто вынула из кармана ключ от своей комнаты и кратко пояснила:

— Номер сорок.

А когда я бросила на нее непонимающий взгляд, коротко пояснила:

— Подождешь меня там. Я тебе что-нибудь принесу.

И пришлось еще раз повторять, что я уже обо всем договорилась с Инной Яковлевной и ее, Лили, помощь не требуется. А здесь я сижу исключительно из желания подышать свежим вечерним воздухом...

Привожу этот случай потому, что он весьма характерен для общей обстановки в Доме творчества. Живущие в нем проявляли всяческую заботу о приехавших в гости собратях, и не только об их желудках. Так, в почти обязательную развлекательную программу для посетителей входила небольшая прогулка к местным достопримечательностям, главной из которых, разумеется, считался залив. Я, правда, предпочитала ходить туда в одиночестве. Ведь я была хорошо знакома с ним с отроческих лет и люблю до сих пор разговаривать с заливом наедине...

*Зачем кидаешься на берег,  
О чем реवेशь, седой прибой?  
Боишься, что тебе отмерят  
Границу заданной чертой?*

*Боишься, что тебя оправят  
В отлакированный гранит?  
Что все живущее отравят  
И гниль на свете победит?*

*Реветь, кипеть — и не смиряться.  
Приходит срок — опять бросок...  
Кричат встревоженные птицы,  
Потом садятся на песок.*

*Сидят и ждут оторопело,  
Взлететь готовые вот-вот,  
Как будто в гневной пене белой  
Надежды искорка блеснет.*

И еще так я ему говорила во время пребывания в Доме:

*Все равно ты пахнешь морем,  
Светло-серая вода,  
С безмятежной гладью споря,  
Снова вспенилась гряда.*

*Стройных зданий силуэты  
Берегом другим вдали, —  
Из туманной дали этой  
Выплывают корабли*

*В сокрушительные бездны,  
Где царит лишь синева,  
Где не скучно, где не пресно,  
Где кружится голова.*

*Перевернутые днища  
Отдыхают на песке.  
Ветер хлещет, ветер свищет  
В человеческой тоске.*

*Этим ветром подзадорен,  
Начинается прибой.  
Все равно он пахнет морем,  
Не стоячею водой!*

Никогда не забуду, как я была счастлива, впервые приехав в этот Дом творчества с настоящей путевкой. Правда, мне дали путевку в двойной номер (№ 12), чтобы получить с меня больше денег, но это неважно.

Остановилась у двери: замок что-то отказывался подчиняться ключу, я растерялась, а тут услышала топот бегущих ног.

— Сейчас, этот замок всегда заедает, — успокоила меня женщина в белом халате, когда добежала до заупрямившейся двери. — Его надо прижать, вот так, видите?

Так я познакомилась с Тоней, любимой всеми обитателями Дома творчества.

— С приездом вас! Заходите!

А ведь она увидела меня впервые!

Я сразу убедилась, что самое главное для Тони — это сделать так, чтобы приехавшему сюда было удобно.

Раз в десять дней полагалось менять постельное белье. Многие живущие в этих комнатах женщины предпочитали получить у горничной свежее белье и самим стелить его, чтобы было привычно и удобно. Таким Тоня предоставляла полную свободу, положив аккуратный сверток с чистыми простынями и наволочками на край кровати, а грязное белье сворачивала и уносила. А мне, например, не хотелось отрываться от пишущей машинки или от блокнота, я только дружески кивала Тоне, когда она входила, нагруженная простынями, и молча начинала их стелить: уже усвоила мои пожелания и привычки. Она, между прочим, застилала кровать с большим искусством, мне самой бы ни за что так аккуратно не сделать.

У некоторых писателей дома были, скажем, не совсем благоприятные условия для работы, они имели обыкновение подолгу жить в комаровском Доме, иногда устраивая перерывы и отбывая к себе домой. Для таких путешественников Тоня совместно с Александрой Львовной Андрес придумала целую систему хранения ненужных в городской квартире, но необходимых в комаровской

жизни предметов, как то: чашек и стаканов, заварных чайников, электрических кипяtilьников и даже плиток и прочего добра. Когда хозяин всего этого богатства сравнительно надолго уезжал в город, услужливая Тоня снабжала его большой упаковочной коробкой. Она добывала такие в местном магазине, и человек мог уложить свои чашки-ложки и кипяtilьники и оставить аккуратно надписанную коробку у Тони до следующего своего приезда в Дом творчества. Мне очень по вкусу пришлась такая система, когда не приходилось возить одни и те же вещи туда и обратно. Как-то не думалось при этом о Тоне, которая должна была изобрести способ поместить куда-то эти коробки с надписанными фамилиями. Ее комнатка в деревянном флигеле для служащих была слишком мала. И Тоня опять проявила изобретательность, поднимая все оставленное на шкаф для одежды, помещавшийся в тамбуре перед комнатой, куда должен был въехать по путевке новый жилец. Неутомимая Тоня зорко следила, чтобы с кипяtilьниками и чашками ничего не случилось. И в те несколько лет, когда мне посчастливилось приезжать в Дом творчества дважды в год, не приходилось долго возиться со своим багажом: я твердо знала, что непременно получу по приезде свою невредимую багажную коробку. Да и ездить в Комарово я впоследствии приутилась на такси, благо это в те годы обходилось довольно дешево.

Еще о Тоне могу добавить, что она отличалась редкой тактичностью. В ее обязанности входила, естественно, ежедневная уборка обитаемых номеров. При этом многие писатели воспринимали уборку в их присутствии как стихийное бедствие и требовали от Тони, чтобы она ухитрилась наводить чистоту в то время, когда хозяева отсутствовали в комнате достаточно долго. Мне, впрочем, Тоня ничуть не мешала погружаться с головой в работу: она-то, в отличие от моих домашних, все делала молча, поэтому уборка ничуть мне не досаждала.

И я любила кошек и собак не меньше, чем Тоня. Под ее опекой находился пес неизвестной породы по имени Шарик и две-три кошки.

Как уже было сказано, Тоня занимала комнатку в деревянном доме для служащих, но у нее была комната и в городе, где жил ее муж, которого она изредка навещала, как она сама мне говорила.

Но вернемся к моему первому законному поселению в писательском Доме.

Двойной двенадцатый номер даже не показался мне слишком большим, так я была счастлива. Я сразу вспомнила папины рассказы о том, как он поселился в квартире на улице Халтурина, а в соседней комнате жили два студента — Коля Кулаков и Женя Пашанин. Они занимали такую огромную комнату, что в ней свободно можно было кататься на велосипеде, что они и делали. И мне безумно захотелось поехать в этой роскошной комнате на велосипеде, но моя выдавшая виды машина осталась дома. Я внимательно осмотрела все свое хозяйство и осталась довольна. Хороший письменный стол, куда поместится много бумаг, журнальный столик, диван, стулья, кресло, торшер, устойчивая и не бьющая лучом света в глаза настольная лампа, шкафчик (надо сложить туда привезенные книги). В тамбуре — умывальник с горячей и холодной водой, большой шкаф для одежды. В углублении ниши — две кровати. Вторая тоже не будет лишней — кто-то из моих дочерей сможет, если захочет, в выходные меня навестить. А если приедут обе, вторая будет спать на диване. Все, что может понадобиться поэту, да и прозаику тоже, тут имеется. И чем-то веяло в воздухе, каким-то величием, великолепием... Что бы это такое могло быть?

Через три-четыре дня, когда я совсем освоилась в этом роскошном номере, я сидела за круглым столом в вестибюле и говорила по телефону. Отворилась выходящая в парк дверь, и в теплый по-домашнему вести-

бюль ворвался угрожающий шум осеннего дождя и резкий холодный ветер. Вошел промокший и продрогший поэт Виктор Соснора, который ездил в город по делам. Он взял с доски ключ от своей комнаты и подошел к столу дежурной по корпусу, что-то ей сказал. Она обратилась ко мне, увидев, что я уже повесила трубку:

— Нет ли у вас случайно пакетика чаю?

— Есть, и даже не один.

— Ой, дайте ему, — она повела головой в сторону Виктора. — Видите, как промерз человек? Ему согреться нужно!

Я не особенно хорошо была знакома с Соснорой, но как не выручить человека в подобных обстоятельствах?

— Пойдем ко мне, Витя, я тебе чаю дам!

Он послушно зашагал за мной по полутемному коридору. Я распахнула дверь двенадцатого номера. Виктор шагнул за мной, но на пороге как-то странно споткнулся и тихо сказал:

— А здесь Ахматова жила. Меня к ней приводили.

Так вот что осталось в этой комнате! Какой-то невидимый ахматовский дух, который незаметно помогал мне. Недаром я столько стихов написала в этом доме — и потом, в последующие годы, когда я жила в других комнатах. Или мне казалось, что помогает ахматовский дух, а на самом деле сказывалось отсутствие большого числа внешних раздражителей, которые мешали сосредоточиться в городской квартире? Не все ли равно, что именно помогало. Важно то, что в комаровских комнатах писалось свободно и помногу.

### Комаровское кладбище

*Пусть звонко и круто  
Ветра за спиной,  
Знакомым маршрутом,  
Дорогой лесной.*

*Калитку легко я  
Рукою толкну, —  
Пребуду в покое,  
Нырну в тишину.*

*Живому — так странно  
На кладбище том...  
Ахматова Анна  
Под черным крестом.*

*Две розы неярких  
С пионами в ряд.  
Два толстых огарка  
Сурово горят.*

*И с места не сдвинуть,  
Стою и гляжу...  
Я ветку рябины  
На крест положу.*

Позже я прочла в книге Натальи Ильиной о том, как во время ее пребывания в комаровском Доме творчества она одалживала Ахматовой для чтения романы Агаты Кристи в подлиннике. Это меня обрадовало: у меня в тот приезд как раз был один из романов Агаты Кристи, который я переводила, и его тогда очень быстро напечатали...

В тот первый мой день в Доме к обеду я вышла в столовую со своей путевкой и попросила дежурную официантку указать мне место, где я буду сидеть во время еды. Потом-то я освоилась и никого не спрашивала, а сама выбирала место и соседей. А тогда, в первый раз, робела проявить самостоятельность и покорно пошла за официанткой. Она подвела меня к столику, за которым сидели двое пожилых седовласых мужчин. Один из них — переводчик Сергей Владимирович Петров, мой давний хоро-

ший знакомый по секции переводчиков. Это был очень ценный для секции человек, увлеченный своей работой (он переводил в основном скандинавских поэтов и даже вел семинар молодых переводчиков). В своей увлеченности Сергей Владимирович иной раз переходил через край. Так, он всерьез заявлял, например, что в переводах образцов японской поэзии должны действовать Иван да Марья. Но разговаривать с ним было всегда интересно. Однажды он со всем пылом горячности утверждал, что зря современные редакторы переводов настаивают на точной передаче произношения английских имен собственных.

— Энн написала письмо Элис! — горячился он. — Да кто же кому написал, я вас спрашиваю? Надо: Анна написала Алисе. А вы в своих английских переводах — Энн, Элис... Да кому эта ваша г...я Энн нужна?

И я напрасно пыталась ему объяснить, что английскую прозу не перевожу и никаких Энн и Элис у меня нет...

Я обрадовалась, что меня посадили рядом со знакомым человеком. Но, увы, за то время, что мы не виделись, Сергей Владимирович сильно сдал и беседовать с ним стало трудно. Я спросила, как он поживает. Он ответил:

— А как я могу поживать? Глаза не смотрят, уши не слышат, ноги не ходят...

В Доме Петров жил с молодой женой в одиннадцатом номере, у меня за стенкой, квартиры в городе у них пока не было. Саша Петрова преподавала математику в Политехническом институте и ездила на электричке на работу. Сергей Владимирович с гордостью говорил:

— Жена у меня математик. Это лучше, чем филолог — не станет, по крайней мере, никаких глупостей говорить!

Через два-три дня все население Дома после завтрака оказалось в невероятной панике: из двери одиннадцатого номера в коридор шел густой черный дым. Казалось, что в воздухе над дверью подвесили плотное черное одеяло. Все пришедшие после завтрака люди в сильном

волнении толпились у двери, из которой полз угрожающий дым. Слышались выкрики:

- Пожар!
- Горим!
- Да кто это там живет?

Я быстро догадалась, что Саша Петрова, как всегда, уехала в институт на работу, и Петров один. Стала стучать к нему:

— Сергей Владимирович! Откройте, это я! Что у вас случилось?

Он молча повернул ключ и впустил меня. Я увидела сквозь дым стоящий у самой стены торшер. На его столике валялся включенный кипятильник с перекрученным шнуром, который сам себя сжег. Огня уже не было, остался один черный дым.

— Это черт знает, что такое! — возмущался хозяин номера. — Я торшер включил, а тут все как пыхнет!

Конечно, он сослепу перепутал и всунул в розетку в стене шнур от кипятильника вместо шнура от торшера. Хорошо еще, что кипятильник лежал на столике, а шнур был перекручен... Я помогла Петрову открыть окно, и остатки дыма выползли наружу.

Прошло еще два-три дня, и случилось новое происшествие. Опять-таки в отсутствие жены Сергей Владимирович в своей комнате прилег поспать после обеда, предварительно заперев дверь изнутри. Спал он долго и не проснулся даже тогда, когда его жена, вернувшись с работы, не могла попасть в комнату, так как в замке торчал ключ, заботливо вставленный ее мужем. И опять в коридоре возле одиннадцатой комнаты стал собираться народ. Саша в пальто и с сумками в руках растерянно стояла у двери, беспомощно зажав в пальцах не помогающий ей ключ от номера. Стук в дверь и громкие призывы были бесполезны — Петров спал.

Наконец решили, что надо попытаться влезть в комнату через окно и отворить дверь изнутри. Несколько

добровольцев обожали Дом вокруг и установили, что в комнате Петрова открыта форточка. Это обстоятельство облегчало бы проникновение в комнату, если бы окно не было расположено слишком высоко.

Тут вспомнили, что каждый писательский номер снабжен длинным шестом с прочным крюком на конце. После того, как немало писателей пострадали, пытаюсь изнутри влезть на подоконник и закрыть или, наоборот, открыть у себя форточку, каждую комнату заботливо снабдили таким шестом. Влезть к Петрову в комнату при помощи шеста, изъятого из другого номера, было проще.

Этот подвиг взялся совершить молодой критик и литературовед Самуил Лурье. Он принял в свои руки увенчанную крюком длинную палку и, поддерживаемый десятком болельщиков снаружи, смело полез на подоконник, пробравшись сквозь густой кустарник. К тому времени болельщики так расшумелись, что Петров проснулся. А критик Лурье просунул шест в окно через форточку, и ему удалось при помощи крюка повернуть шпингалет. И тогда он, к ужасу хозяина комнаты, спрыгнул с подоконника на пол.

— Сергей Владимирович! — воззвал он. — Не бойтесь! Я не разбойник, не грабитель! Я литературный критик Лурье!

Некоторое время после этого случая мы называли Самуила Лурье «форточником»...

Но все это — потом. А сейчас Петров сидел наискосок от меня, погруженный в собственные мысли, а прямо напротив сидел, не без любопытства меня разглядывая, грузный седой мужчина. Как я вскоре узнала, это был профессор филологии, специалист по литературе Средневековья и Возрождения, лауреат высокой премии за свою книгу о Ломоносове Александр Антонович Морозов. Морозов славился среди обитателей Дома своим острым языком и любовью к сомнительным парадоксам.

Он находился в Доме почти постоянно, изредка меняя комнаты и продлевая путевки, потому что у него уже довольно давно умерла жена, с которой он раньше жил в городской квартире. И я после поняла, почему меня посадили за один стол с Морозовым. Не всем было приятно и интересно выслушивать его долгие разговоры, которые этот любитель эпатажа обрушивал на собеседника по столу. А я терпела его неприязненные тирады в адрес присутствующих в писательской столовой, иногда мне было даже интересно.

В этот мой первый день многие обедающие по очереди подходили к столу и приветствовали меня, поздравляя с законным, наконец-то, пребыванием в писательском Доме, и радовались, что я среди них. Морозов внимательно следил за каждым останавливающимся передо мной и, в конце концов, не без удивления заметил:

— Однако! Вас тут, кажется, все знают!

Подошла Мира Абрамовна Шерешевская, переводчица прозы и секретарь бюро переводческой секции. Морозов с саркастической улыбкой сказал ей что-то неприятное о ком-то из присутствующих, она усмехнулась:

— Скажите мне, пожалуйста, откровенно: случалось ли вам хоть раз в жизни сказать доброе слово хотя бы о ком-нибудь?

И он с довольным видом ухмыльнулся.

Ко мне Морозов долгое время внимательно присматривался, безуспешно пытаясь понять, кто же я такая. Обрушивал на меня целые потоки своих парадоксальных речей. Доказывал, например, что, вопреки прочно установившемуся в ученом кругу филологическому мнению, представители темных веков средневековой культуры были более прогрессивными, нежели расхваленные сыны эпохи Возрождения. Было интересно с ним беседовать, несмотря на его частый агрессивно-инвективный тон, которым он стремился уничтожить собеседника. Я не пыталась спорить, а просто прислушивалась

к его доводам. Усмехалась скептически, когда Морозов, по своему обыкновению, говорил что-то неприятное об окружающих. И только однажды резко воспротивилась насмешливо-отрицательной оценке — когда он попробовал задеть Татьяну Григорьевну Гнедич, моего учителя и наставника.

— Вот этого человека вы не трогайте, — решительно и резко вставила я.

Морозов, хотя и промолчал, безоговорочно подчинился моему требованию. Кстати, впоследствии он мне помог проникнуть в рукописный отдел Пушкинского Дома, когда я сказала, что работаю над списком русских переводчиков Байрона.

К моим дочерям, которые часто меня навещали, относился, в общем, хорошо. Однажды, увидев их со мной, протянул:

— О-о, каких лошадей мы растим!

И сердито заметил, когда Марина на него обиделась:

— Ведь если мы говорим «лебединая шея», это вовсе не значит, что она покрыта перьями!

Мы с Морозовым даже подружались. Но сидеть с ним за обеденным столом я больше не стала. Когда я как следует освоилась в Доме творчества, в следующие мои приезды не спрашивала дежурную официантку, куда и с кем мне можно сесть. Просто мы с моей приятельницей, драматургом Валентиной Левидовой, занимали один из свободных столов и приглашали к себе еще двоих по своему выбору. Это у нас называлось «формировать стол», что вполне разрешалось администрацией — так же, как и после приезда переставлять в своей комнате мебель: нас тут никто не притеснял.

Морозов почему-то вскоре после знакомства прозвал меня Ведьмой, а чаще звал по-немецки *Неха*, что значит то же самое. Утром, когда встречались в столовой за завтраком, непременно изысканно вежливо спрашивал:

— Ну, как вам сегодня леталось? Дождик не мешал?

Так что я оказалась просто вынуждена написать стихотворение на эту тему.

### Ночной полет

*Нипочем теперь не стану  
Жаловаться на судьбу:  
Из угла метлу достану,  
Шасть — и вылечу в трубу.*

*Надо в небе быть счастливой,  
А не прятаться в нору!  
Пусть прическа буйной гривой  
Разлетится на ветру.*

*Чем страдать в борьбе со словом,  
Изогнувшись над столом,  
Я взлечу над Комаровом,  
Грохнет вслед веселый гром.*

*И никто меня не тронет, —  
Так взовьюсь я высоко.  
Поздний путник не застонет,  
И не скиснет молоко.*

*На планету голубую  
Полюбуюсь с высоты.  
Зорко высмотрю нору я,  
Где от бед укрылся ты,*

*Где сидишь в броне надежной  
В глубине своей души...  
Но сегодня все возможно:  
Ладно, так и быть — дыши!*

*Хорошо, что так умею  
Оседлать лихую грусть...  
И на верном помеле я  
Вновь в трубу свою вернусь.*

Четвертым за нашим столом сидел Анатолий Сорокин, которого я знала раньше как неплохого поэта.

Вскоре ко мне таинственно подошел мой однокурсник Слава Свяцкий и сообщил с улыбкой:

— Ты знаешь, я называю ваш стол «Сусанна и старцы»! Ничего себе, подобрал название!

Для полноты картины надо добавить кое-что про Морозова. На студенческих зимних каникулах я с дочерью Мариной жила в Доме в литерном номере «А». Моим соседом за стенкой был Морозов. Когда моя путевка закончилась, я уехала в город, а потом приехала кого-то навестить. В парке мне встретились Майя Борисова и Яков Гордин. Увидев меня, они начали дико хохотать. Потом вразнобой закричали:

— А ты знаешь, что тут о тебе Морозов рассказывает?

И они поведали мне настоящую средневековую легенду, героями которой были Морозов и я.

— Я в тот вечер зачитался до глубокой ночи, — сообщил им Морозов. — И вдруг увидел, как стенка, отделяющая мой номер от соседнего, начала раздаваться, в ней возникло круглое отверстие, а в отверстии появилась длинная рука и потянулась ко мне. Я, понятно, перепугался. Но вовремя вспомнил, что днем ко мне заходил водопроводчик — починить батарею — и оставил у меня в комнате гаечный ключ. Ну, я тогда встал с постели и стал искать этот гаечный ключ, нашел его возле батареи. А рука и туда за мной потянулась. Но я схватил этот тяжелый гаечный ключ и как следует ударил по нахальной руке. Тогда она быстренько скрылась в проеме, а он опять закрылся. И я спокойно заснул. Утром выхожу в столовую — а Усова-то явилась на завтрак с перевязанной рукой!

Мне эта нехитрая история понравилась не меньше, чем моим знакомцам, которые ее с таким удовольствием рассказывали.

Когда я жила в комаровском доме, часто не спала ночами. Но, конечно, по иным причинам. Тут хорошо и свободно писалось. Днем я обычно занималась прозой, главным образом, редактировала и писала роман о жизни Байрона, который потом выходил несколькими изданиями; сочиняла и детские школьные повести, из которых потом вышла только одна...

Завтрак в Доме был в десять утра, а обед — с двух дня. От завтрака до обеда — довольно большой перерыв, особенно если учесть, что на работу уходило много умственной энергии. Поменьше, чем физической, но все-таки много. И в полдень я устраивала себе еще один перерыв, чтобы сварить при помощи кипятильника чашку кофе.

*Как славно пить кофе в двенадцать часов,  
Когда за стеной не звучит голосов,  
А пальцы азартной работой свело,  
А солнце в балконное смотрит стекло.*

*И, узкую комнату светом залив,  
Твердит, что внизу серебрится залив,  
Зовет, чтоб к нему я немедля пошла...  
Но строго машинка глядит со стола.*

Это написано уже не в ахматовском номере.

Когда вступает в свои права ночь, наступает время стихов. Дома, в городе, они приходят чаще всего изредка, а здесь — почти каждый раз...

*А кто сказал, что ночью  
Главенствует покой?  
Разносит душу в клочья  
То страхом, то тоской.*

*Тебя качает бурно  
Поверхность бурных вод,  
Нелепым и сумбурным  
Мир яви предстает.*

*Душа как будто просит  
Еще мирских тревог...  
И лишь к утру выносит  
На тихий островок.*

*Опять надежда греет,  
Светлеют небеса,  
И медленно сереет  
Рассвета полоса.*

*И видишь вдруг воочью:  
Мир обновлен опять...  
А кто сказал, что ночью  
Необходимо спать?*

Ночью стихи получают особыми, днем таких не напишешь. Поэтому надо брать с собой в постель ручку и записную книжку. На худой конец, клочок бумаги.

*А ночью слышно — поезда.  
Покой наш призрачный нарушен,  
Они раскачивают душу  
И уползают в Никуда.*

*Вдруг стук колес пронзает грудь...  
Они давно прошелестели,  
А ты лежишь в своей постели  
И знаешь — больше не заснуть.*

*И снова будут замирать  
В дали пронзительной колеса,*

*И ты поймешь, что те откосы  
Нам никогда не увидеть.*

*Ворочаешься, как на плахе,  
И в толк не взять своей вины.  
Шевелятся ночные страхи,  
А поезда слышны, слышны...*

И не только ночи — одинокие прогулки по зимнему Комарову тоже подарили множество стихов. Мы все любили гулять и компаниями, но одинокие прогулки — это совсем другое дело.

### Муза

*Не рада как будто союзу,  
Порой от него я бегу.  
Мою прихотливую музу  
Спугнуть просто так не могу.*

*Другие следят до рассвета:  
Куда же она держит путь?  
Другие в тиши кабинета  
Боятся погромче вздохнуть.*

*Другие плутовку готовы  
В ночи запереть на замок,  
Любое случайное слово  
Держать под оковами строк.*

*А мне — только выйти к заливу  
Осеннему солнышку вслед, —  
Она окликает игриво:  
— Явилась?  
— Явилась, привет!*

*И спорится дружно работа  
Вослед уходящему дню.  
Да мне ли ей ставить тенёта?  
Ее ли ловить в западню?*

*Опять я спускаюсь к заливу,  
И легок, и ловок мой шаг...  
Нет, муза моя не пуглива,  
Трудяга она из трудяг.*

Как-то во время студенческих каникул, когда Дом наполнялся не только студентами, писательскими детьми, но частично и их преподавателями, кое-кто из которых принадлежал к писательской братии, Нина Александровна Жирмунская шутя сказала:

— ...И вечные Мануйлов и Морозов!

И вот — нет теперь не только насмешника и знатока Средневековья Морозова и создателя уникальнейшей Лермонтовской энциклопедии Виктора Андрониковича Мануйлова, но и самой Нины Александровны... А тогда эти два ученых филолога действительно казались вечными. Когда ни приедешь в комаровский Дом, они оба спокойно живут в своих комнатах, будто и не уезжали ни на один день. На самом-то деле иногда отправлялись каждый на свою городскую квартиру на два-три дня, чтобы оформить путевки. У Мануйлова, как и у Морозова, давно не было семьи. Сестра, которая за ним раньше ухаживала, умерла, а в Комарово он мог жить на всем готовом.

О том, как я познакомилась с Виктором Андрониковичем, когда сдавала ему в одну из зимних сессий экзамен по русской литературе первой трети XIX века, я уже писала в небольшом очерке «Лютый, аки тигр», опубликованном в журнале «Рог Борея» (СПб., № 40, 2010. С. 172–179). Без необходимости постараюсь не повторяться.

В первый же вечер моего проживания в двенадцатом номере во время ужина я увидела в столовой, возле веду-

щего в кухню окошка, фигуру человека в светло-синем тренировочном костюме с судками в руке. Я не видела Мануйлова не так уж мало лет, но сразу узнала по его «редьке хвостом вверх». После мне объяснили, что у него в номере почти постоянно находится его секретарь Людмила Львовна Ганзен, которая помогает ему работать, поэтому он редко обедает и ужинает в столовой, а носит еду в судках к себе в комнату. В тот момент около меня остановилась поговорить моя знакомая переводчица Белла Магид. Я извинилась перед ней, сказав, что хочу поздороваться с Мануйловым, которого давно не видела. Белла усмехнулась:

— И напрасно, Галя. Все равно он вас не узнает: он уже никого не узнает, и не надейтесь.

Но я-то лучше знала: меня он, конечно, вправе не узнать, как и многих студентов, но уж мою маму, проработавшую много лет на литературной кафедре Библиотечного института, которой Виктор Андроникович руководил, он вряд ли когда-нибудь забудет. Разумеется, он мне очень обрадовался и сейчас же спросил, приедет ли мама в Комарово меня навестить. У нас с ней не было об этом предварительного разговора, но я обещала позвонить ей и спросить. Мама сначала откликнулась на мое приглашение без особого восторга — ей не хотелось оставлять папу одного, но когда я сказала, что ее хочет видеть Виктор Андроникович, согласилась через день приехать.

Они встретились в саду Дома творчества. Мы с мамой сидели на скамейке возле столовой, а Мануйлов как раз проходил мимо. Конечно, подошел, поздоровались приветливо, даже нежно поцеловались. Мы пригласили Виктора Андрониковича после обеда зайти к нам в двенадцатый номер. Мануйлов подтвердил, что там действительно жила Ахматова и он у нее бывал.

Немного повспоминали старые времена.

— Вот видите, — сказал Мануйлов, — я был прав, что сразу же ушел из Библиотечного института, как только

его переименовали в Институт культуры. Я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но хорошо, что я работал именно в Библиотечном институте: всегда в любом городе, если потребуется, можно устроиться на ночлег, если только найдешь библиотеку, а там непременно отыщется кто-то из бывших студентов. В крайнем случае, переночуешь прямо в библиотеке.

Однажды его положили спать прямо на столе, но он забыл, в каком городе.

Потом я проводила маму в свой роскошный номер и принесла ей из столовой большую тарелку винегрета с куском хлеба и стакан горячего чая — в комаровском Доме гостей всегда по мере возможности кормили.

Когда я, пообедав, выходила из столовой, ко мне подошла Александра Львовна Андрес, а с ней — Эмма Полоцкая, литературовед из Москвы. Она гостила в нашем Доме и сидела за столом Александры Львовны. Эмма казалась очень взволнованной.

— Извините, Галя, — сказала Андрес. — Я забыла, как зовут вашу маму.

— Эсфирь Соломоновна, — подсказала я.

— Литвин! — взволнованно продолжила Эмма. — Я так и знала!

Оказалось, что во время войны Эмма Полоцкая училась на филологическом факультете молотовского университета, где моя мама читала фольклор и русскую литературу.

— Ну, я же сразу, как только вас увидела, почувствовала что-то знакомое и очень хорошее! — у нее даже слезы выступили на глазах.

Разумеется, я пригласила их обеих зайти к нам с мамой в номер. Подошла и моя приятельница Галя Панизовская, которая писала фантастику:

— Ой, я тоже хочу познакомиться с твоей мамой!

И ее муж, тоже писатель-фантаст, не пожелал отставать от нее. Так что у меня в номере получился настоящий

великосветский прием. А тут еще приехала меня навещать моя дочь Татьяна. Мануйлов отнесся к ней со всем вниманием и сразу спросил:

— Как ваше имя и отчество? Ну вот, теперь я знаком с тремя поколениями вашей семьи!

И весь вечер называл мою дочь Татьяной Васильевной.

Вообще Мануйлов отличался истинной галантностью, был настоящим джентльменом, что давно уже у нас не встречается. Например, мама мне как-то рассказывала, что однажды они вместе уходили из института и о чем-то разговаривали. Виктор Андроникович до того увлекся разговором (это было для него чрезвычайно характерно!), что прозевал момент, когда его спутница получила в гардеробе пальто, и спохватился только когда она уже застегнулась на все пуговицы.

— Ну как же так? — Он очень расстроился. И вдруг решительно предложил: — Снимайте пальто!

— Зачем?

— Но я должен вам его подать! Я не могу иначе! — И он действительно органически не мог иначе и не успокоился, пока не подал снятое пальто по всем правилам.

Любимая комната Мануйлова была тридцать шестая, на третьем этаже. У него была астма, и на верхнем этаже ему было легче дышать. Я же любила тридцать седьмой номер, потому что там был балкон, поэтому мы часто соседствовали. Если нам случалось встретиться в коридоре или на лестнице по дороге к своим комнатам, Виктор Андроникович непременно спрашивал:

— А мы вам не мешаем своими разговорами? Мы иной раз громко говорим, так вы скажите, если вам это мешает! У меня ведь часто народ бывает: коллеги, ученики.

Однажды я застала его во дворе за довольно странным занятием: он подошел к стоящей у ворот машине и чуть ли не присел на корточки, пытаясь заглянуть под капот. Увидев, что я подхожу, он смущенно поднялся. Я по-

интересовалась, что это его так вдруг заинтересовало в устройстве автомобиля. Он объяснил:

— Я хочу понять, чем они сбивают.

— Сбивают? Как — сбивают?

— Ну, я в последнее время вижу неважно: идешь по улице, и вдруг тебя сбивает автомобиль. Меня уже раза три сбивали.

Однажды я подарила Мануйлову собранную мною и изданную в московском Детгизе книжку избранных произведений Байрона из серии «Школьная библиотека», где были в числе других и мои переводы. Он сразу открыл книжку на последних страницах, где напечатаны комментарии, и объяснил:

— Я очень люблю читать комментарии. Больше всего.

И остановился на тексте, где рассказывается о восхищении Байроном удивительной женщиной, миссис Спенсер-Смит. Когда прочел, стал спрашивать меня о деталях их отношений.

Как-то на выступлении в Союзе писателей Мануйлов сказал, что он вообще-то из русских поэтов больше всего любит Пушкина, а не Лермонтова. Но он очень рано понял, что для детального изучения творчества Пушкина не хватит человеческой жизни, а потому задумал создать Лермонтовскую энциклопедию, а не Пушкинскую. Лермонтовым написано гораздо меньше, и можно за одну жизнь завершить эту работу. Что Мануйлов и сделал.

В последний раз я видела Виктора Андрониковича в его тридцать шестом номере в очень морозный зимний день. Я, как всегда, пришла к нему в комнату подарить одну из своих последних публикаций. Это был небольшой отрывок из биографии Байрона, напечатанный в детском журнале «Искорка». Там же я поместила стихотворение Байрона о его детских годах в моем переводе и с подробными комментариями — я не забыла, что Виктор Андроникович очень любит комментарии. Мы сидели и беседовали, когда к нему постучался другой мой

хороший знакомый — писатель Сергей Александрович Снегов. Он принес несколько кусков хлеба, чтобы покормить из окна синичек. Была в Доме творчества такая давняя традиция — зимой открывать окна и кормить птиц, которые привыкали и становились почти ручными. Иногда даже в комнаты залетали, и присутствие людей птиц не особенно пугало. И вот два этих почтенных пожилых человека широко распахнули окно и встали возле подоконника, деловито обсуждая, каким образом и куда крошить хлеб, чтобы синичкам было удобнее его клевать. При этом Виктор Андроникович не забыл меня спросить, не боюсь ли я жгучего мороза, который жадно хлынул через открытое настежь окно в натопленную комнату. Я ответила, что нисколько не боюсь простуды. Я не думала о зимнем холоде, глядя на двух людей, которые в эту минуту при всем своем величии превратились для меня в симпатичных добросердечных старичков. Оба низко склонились над подоконником, я обратила внимание на то, какие они лысые — и вдруг страшно испугалась, что они простудятся на этом лютom морозе. Они были озабочены только тем, как бы получше накормить птичек. Было в этой картине что-то необыкновенно трогательное, и я запомнила ее навсегда. Возможно, что я и видела Виктора Андрониковича когда-нибудь после этой встречи, но именно она так запомнилась, так выпукло отложилась в зрительной памяти, что я считаю ее последней.

А встреча со Снеговым тогда тоже была одна из последних. Снегов — это придуманный им литературный псевдоним, настоящую фамилию Сергея Александровича я не помню. В тридцатые годы, совсем юным, он был арестован. Как-то Снегов говорил, что Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» и в последующем произведении этой серии в одном из персонажей изобразил его. После тюремной отсидки Снегов попал в Северный лагерь (отсюда и псевдоним!), где познакомился со Львом Николаевичем Гумилёвым. Он рассказывал, что однаж-

ды ээки устроили в своей среде поэтический конкурс. Он, Снегов, занял первое место. Гумилёв, занявший второе, очень обиделся на Снегова.

— Это же неправильно, — горячился Гумилёв. — Ну подумайте сами — какой же вы писатель? Вы ведь ученый, а писатель — это я!

— Нет, Лев Николаевич, — возражал Снегов. — Все как раз наоборот: это вы ученый, а писатель — это я!

Но все-таки они во всей последующей послереабилитационной жизни дружили. Гумилёв жил в Ленинграде, а Снегову, когда он вернулся, не смогли предоставить жилье, поэтому он уехал жить в Калининград, там ему сразу предложили квартиру. Но Снегов часто навещал Ленинград, где состоял в писательской организации, и каждый раз, приезжая, непременно виделся с Гумилёвым. Он обязательно брал в Литфонде путевку в Комарово. В Доме творчества Снегов жил, что называется, на широкую ногу. Притом он много работал (а писать стал научную фантастику, его знание физики помогало придумывать всевозможные миры и способы жизни). По вечерам после ужина у него в номере часто собирались друзья, для которых в холодильнике всегда находились хорошее вино и угощение. Снегову самому почти ничего нельзя было есть из-за диабета, но он с удовольствием смотрел, как едят его гости.

Однажды вечером, как это иногда бывало, компания близких друзей собралась в комнате одной поэтессы, Наташи Карповой. В основном ее гости состояли из поэтов, воспитанников известного Глеба Семёнова (ЛИТО «Нарвская Застава»). Среди немногих других был и Сергей Александрович Снегов, с которым Наташа познакомилась там же, в Комарово. Она, как хозяйка, представила Снегова своим старым друзьям и подробно рассказала о его достоинствах. Снегов смущенно произнес:

— Вы так много хорошего обо мне говорите, что я сейчас от смущения просто под стол полезу!

Дружеское пиршество совершалось за низким журнальным столиком, какие стояли в каждой комнате. Тут меня дернуло усмехнуться и сказать:

— Да он же только пугает нас! На самом деле он под этим столиком просто не поместится.

И тут же я пожалела о своих словах, потому что Снегов, бросив на меня укоризненный взгляд, действительно опустил на пол и полез под низкий столик! Этот случай говорит о том, как Снегов мог уже в немолодом возрасте искренне отдаваться веселью.

Однажды мы с дочерью Мариной прожили в Комарово счастливые зимние студенческие каникулы и собирались ехать домой на писательском автобусе, который за определенную плату после окончания срока путевок развозил всех желающих по их городским квартирам. Мы с Мариной присоединились к отъезжающим на автобусе из-за того, что в нем ехали некоторые из друзей, а без нашего участия не набиралось суммы, достаточной для рейса. Автобус отправлялся сразу после обеда, нам было сказано принести к воротам наши рюкзаки и чемоданы и загружаться в поджидающий автобус.

Узнав об этом, Снегов вызвался помочь нам нести упакованный багаж. Но, к своему удивлению, мы увидели, что автобус заперт на замок, а шофер отсутствует. Тут же мы получили другой устный приказ: нести багаж обратно в корпус, в вестибюль. Оказывается, директор Дома вызвал куда-то шофера, и все должны сидеть в вестибюле и ждать, когда он вернется и нас повезет. К себе в комнаты мы уже не могли вернуться, потому что там всю шла уборка для прибывающей завтра смены.

Сергей Александрович помог нам с Мариной донести вещи до вестибюля и сказал, что ляжет немного отдохнуть в своем номере.

— Но только вы обязательно стукните мне в дверь, когда надо будет снова нести вещи к автобусу, — сказал он.

Шофер вернулся, а нам не хотелось беспокоить нашего друга. Но он, очевидно, услышал шум в вестибюле из своего номера на первом этаже и вышел к нам с заспанным лицом, не дождавшись обещанного стука. Такой уж человек был Сергей Александрович Снегов!

В комаровском Доме у людей вырабатывались особые отношения. Можно, конечно, сказать, что здесь мы становились ближе друг другу, но ведь это далеко не все. В какой-то иной жизни есть выражение: «С ним я пошел бы в разведку». А здесь говорили: «Я в Комарово сидел с ним в столовой за одним столом» — и это значило очень многое. Ничего не надо было к этому добавлять.

Вокруг были друзья. После оформления путевки в Комарово полагалось выяснить, кто еще из знакомых писателей едет туда на тот же срок.

### В комаровском Доме творчества

*У меня за стенкой справа  
Проживает Лев Куклин.  
Он поэт лихой и бравый,  
Но серьезный господин.*

*«Неприменно одеяло  
Под машинку подстилай!  
Ты опять весь день стучала?  
На балконе не базлай!»*

*У меня за стенкой слева  
Боря Голлер, драматург.  
Исходя гусарским гневом,  
Прибегает, словно тур.*

*Кроме персонажей, хочет  
Всех заставить замолчать:*

*«Снова радио стрекочет!  
Разговорчики опять?»*

*Тут идет Мочалов Лева,  
Или просто Мочалов,  
И бросает взгляд суровый  
На меня из-под очков.*

*Приоткрылась дверь напротив,  
И слова проникли в щель:  
Яша Гордин речь заводит  
Вновь про русскую дуэль.*

*На балкон бегом спасаюсь,  
Обрести хочу покой.  
На другой выходит Майя  
И качает головой.*

*Ну куда же тут обратиться?  
Как друг другу не мешать?  
Ну и здорово же, братцы,  
Что мы вместе здесь опять!*

В саду Дома рос старый кедр, который тоже был нашим другом. Он заглядывал сразу во многие окна и свидетельствовал, что всё спокойно.

### **Старому кедру**

*Угрюмый кедр смотрит в мое окно,  
Как будто просится на полотно.*

*Но только где такие краски взять,  
Чтобы ветвей оттенки описать?*

*И чтобы солнце, услаждая взор,  
Могло так высветить небес простор?*

*Я не смогу, я отвернусь к стене...  
Но продолжает кедр взывать ко мне.*

*В моем шкафу застыл он на стекле,  
Как будто мы вдвоем на всей земле.*

Но на самом деле мы с ним знаем, что в этих молчащих стенах много друзей. И справа, и слева от моей комнаты.

Прелесть здешней жизни в том, что в те минуты, когда тебе нужна полная тишина для работы, ты можешь ее получить, и никто не вклинится в твое деловое одиночество. А когда ты нуждаешься в общении, ты всегда найдешь его в чьей-нибудь дружественной комнате, хозяин которой в данную минуту отдыхает и готов прийти к тебе на помощь. Можешь сидеть у себя в комнате и спокойно работать, а можешь подобрать себе компанию.

\* \* \*

*По обрыву, по обрыву,  
За стволы рукой держусь.  
Ветер тихому заливу  
Шепчет рифмы наизусть.*

*Просигналит электричка —  
Пропадет вдали опять.  
Ах, нелепая привычка  
Всё куда-то забредать.*

*Без дороги, без дороги,  
Сквозь когтистый бурелом...  
Завели дурные ноги,  
И не выбраться потом!*

*Видно, здесь мне и остаться,  
Кости вороны склюют...*

*Не хочу! Спасите, братицы!  
Люди! Есть хоть кто-то тут?*

*По оврагу, по оврагу,  
За стволы держусь рукой...  
Если я в душе бродяга,  
Так при чем же здесь покой?*

Вообще-то, если честно, я тогда здорово перетрусилась из-за того, что опоздаю на ужин. Пошла прогуляться в одиночестве, а стояла уже середина октября, стемнело быстро, и я запуталась в густом колючем кустарнике на краю обрыва. Зато стихотворение получилось хорошее. Я все-таки выбралась из напугавших меня зарослей, пришла в свою комнату и успела до ужина записать стихотворение.

\*\*\*

В комаровском Доме быстро налаживались дружеские связи. Среди моих новых друзей была драматург Валентина Иосифовна Левидова. Одна ее пьеса — «Трехминутный разговор» — с успехом шла в Театре комедии у Акимова. Она не раз упоминала, что у нее дома под кроватью стоит целый чемодан написанных ею пьес, но никто этого чемодана не видел. Не знаю, может, он там под кроватью и стоял, но на сцене у Акимова шел только «Трехминутный разговор».

Сама Валя говорила нам, что она не дает никому читать рукописи своих других пьес из того чемодана, потому что их вообще нельзя читать — они предназначены для того, чтобы смотреть их на сцене в исполнении актеров. Сама она много раз безуспешно пыталась дозвониться до Акимова и дать ему почитать (все-таки почитать!) хотя бы одну из своих «чемоданных» рукописей: авось захочет поставить! Но случая все не представлялось.

Валя вспоминала свой последний телефонный разговор с Акимовым (может, даже и более длинный, чем трехминутный!), когда Николай Павлович объяснил ей, что он сейчас собирается в Москву на гастрольные спектакли байроновского «Дон Жуана», а как только вернется, обязательно с нею встретится. Но, увы, ему так и не довелось вернуться из той поездки...

Не так уж и важно, чистая это правда или нет. Важно, что Валентина Левидова была компанейским и остроумным человеком, и общаться с ней было исключительно приятно, несмотря на некоторые ее чудачества. Она, например, ужасно мнительно относилась к своему здоровью. Даже разговаривая по телефону в вестибюле Дома, прихватывала трубку полиэтиленовым пакетом, чтобы предположительная зараза не коснулась ее, а в ответ на дружеские насмешки сердилась и говорила, что живет одна и некому будет за ней ухаживать, если она заболеет. На верхней крышке холодильника в ее комнате стояла целая батарея пузырьков, флакончиков и коробочек с лекарствами. Если к ней в комнату кто-нибудь заходил поболтать, разговор то и дело прерывался звонком стоящего среди этой батареи будильника, и Валя поясняла:

— Это он мне напоминает, что пора принимать лекарство!

И поспешно поднималась с постели, потому что почти все время лежала на кровати поверх одеяла. Кровать у нее была установлена так, чтобы хозяйке было удобно смотреть на деревья за окном, в том числе на старый кедр (смотри выше!).

Зато я никогда до нее не видела и не знала человека, который так же жадно слушал читаемые ему стихи. Если я приходила к Левидовой в гости, она непременно просила почитать ей мои последние стихотворения. Лицо ее становилось отрешенно счастливым. Так умела слушать поэзию только моя старая школьная учительница Зинаида Александровна Рябчик...

Иногда Валентина выдавала какие-нибудь смешные и остроумные байки из своей жизни. Например, рассказывала о том, как, когда ей было лет пятнадцать и они жили на даче в Пушкине, они вдвоем с домработницей загорали возле озера. Эта девушка была с некоторыми странностями, считала себя христовой невестой, но, вместе с тем, весьма интересовалась вопросами пола. И вот, когда они в тот день лежали и загорали, мимо проходила шумная компания молодых людей. Нюше (назовем ее так) показалось, будто они затевают что-то нехорошее. Она живо вскочила, оделась и побежала домой. Там ее встретил недоуменным вопросом Валин отец:

— Ты что так рано?

— А-а, ссильничать нас хотели.

— А где же Валя?

— Дак там осталась.

— Как же ты могла оставить ее там одну?

— Дак, Ёсиф Ёныч, ей же всё ёдно замуж иттить. А мне нельзя!

И еще была у Вали история о том, как она приехала по путевке в какой-то дом отдыха и явилась в кабинет главного врача. Валя увидела там женщину в белом халате и обратилась к ней, как к главному врачу, а та объяснила, что в кабинете идет ремонт, и она не врач, а маляр. Валя нашла главврача в соседней комнате и стала спрашивать, что произошло с дядей — он что, заболел, захворал? Она никак не могла вспомнить. Врач посмотрела на нее с подозрением, а Валентина объяснила, что это же у Пушкина, только она никак не может вспомнить, что же случилось с дядей. Заболел? Захворал?

*Мой дядя самых честных правил:*

*Когда не в шутку...*

что не в шутку? Я ее перебила тогда:

— И глупо! Надо было просто вспоминать дальше: «Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог»... Ага, не мог, — радовалась я. — Значит, какое было рифмующееся слово? *Занемог*, а не заболел и не захворал!

— Ох уж эти мне поэты! — вздохнула тогда Левидова.

День рождения у Валентины был первого сентября. Обычно я в этот день как раз оказывалась в Доме творчества и попадала в число приглашенных ею гостей. В административном корпусе, где помещалась и столовая, был еще небольшой банкетный зал, о котором многие даже не подозревали. Там и происходило празднование, о чем знали только несколько посвященных лиц.

В один из осенних комаровских сезонов я увлекалась написанием акростихов в форме сонетов. Многие мои друзья получили в подарок по акросонету. А началось все с сонета, посвященного Валентине Левидовой.

### Комаровский акросонет

*Левидова — прелестный драматург,  
Еще, сказать по совести, — прозаик,  
Великолепный исполнитель баек  
И редко покидает Петербург.  
Да есть у ней убежище одно,  
Оно зовется кратко — Комарово.  
Там так уютно, весело, здорово,  
А если нет удобств, так все равно.*

*Веленьем муз мы там сонеты пишем,  
Акростихов составить можем том.  
Любовь к друзьям всех чувствований выше,  
Юдоль ее — сей неказистый дом.  
Шагаем, счастья ища, по свету,  
А лучше этих стен и вправду нету.*

Так мы шутили и веселились всей компанией. Но смотреть закаты я любила в одиночестве.

*Счастлирое утро осенней порой,  
Когда влажный ветер утих под горой,  
Когда отдыхают прямые стволы,  
Ползут поперек на заливе валы,  
Когда в голубом так и тонут глаза,  
Срываются резко с души тормоза.  
И мчишься вдогонку лазурному дню:  
Сейчас догоню, сейчас догоню!  
Но плещет сурово стихия у ног,  
Но створки ракушек легли на песок.  
Остатком иных, невозвратных времен  
Зачем-то их сделал бездушный закон.  
Тому ли закону себя подчиню,  
Пускаясь навстречу осеннему дню,  
Когда надо мною плывет синева  
И душу мне жгут неумолчно слова.*

### Осеннее

*Злобные ветры скосили  
С березы листки,  
Красным, зеленым и синим  
Забиты ларьки.*

*Где-то вдали электричка,  
Как буря, ревет.  
Что за дурная привычка —  
Все рваться вперед?*

*Лес ли, тропа ли, болото —  
Идешь напролом,  
Будто угнаться охота  
За солнечным днем.*

Только, куда бы ни шел ты,  
А встретишься с ней:  
Красным, зеленым и желтым —  
Осень с ветвей!

### Закат

Какой был сегодня огромный закат, —  
Как небо он пламенем жег!  
Прибрежные сосны построились в ряд,  
Взрывая корнями песок.

Надеждой мерцали в воде огоньки:  
Погаснет — и вспыхнет опять.  
Всему вопреки звали вдаль маяки:  
К которому только пристать?

А синие кроны, о чем-то журча,  
Шептались о чем-то своем  
И счастливы были в закатных лучах...  
Как нам повезло:  
Мы живем!

\*\*\*

Когда не слушается слово,  
Наверно, горше муки нет,  
И я в отчаяньи готова  
В блокнот записывать хоть бред.

Ловить любые сочетанья,  
Хоть что-нибудь, хоть как-нибудь,  
Пройти любые расстоянья,  
Чтоб завершился стройный путь.

От тьмы, бессвязности и боли  
К порядку Логике святой,

*И этот путь очистит, что ли,  
И в душу привнесет покой.*

*Где слово взять, чтоб было кротко,  
Чтоб были в нем восторг и грусть?  
На перевернутую лодку  
Опять с ногами заберусь,*

*И буду слушать плеск залива  
И чаек ненасытный зов,  
Пока не выстрою счастливо  
Из диких звуков — зданья строф.*

Но не только залив подсказывает новые стихи. Когда-то в далеком детстве мы с моей подругой Наташей ходили в здешние леса за грибами. А теперь я хожу сюда за стихами.

*Я знаю такие дорожки,  
Такие тропинки в лесу!  
Я, точно грибов в лукошке,  
Оттуда стихов принесу.*

*Пойду по просеке прямо,  
Небо сверкнет меж ветвей, —  
И сгрудились ямбы у ямы,  
Как стайка шумливых детей.*

*В чащу сверну поскорее,  
Где ели на страже стоят, —  
А там озорные хорей  
Из-под травы глядят.*

*Канаву с водой перепрыгну,  
Присяду у миштого пня, —  
И дактиль услужливо выгнул  
Длинный свой хвост для меня.*

*Споткнусь ли о корни невольно,  
В ветвях ли застряну густых, —  
Придет мне на помощь дольник,  
Любовно взъерошив мой стих.*

*Вернусь я, как будто пустая,  
А в строчках — мной пройденный лес,  
Плечами все пожимают:  
«Какой тогда интерес?»*

И даже кучка валяющихся в траве выброшенных поганок может вызвать к жизни стихи:

### **Поганки**

*Кто-то брал грибы за опенки,  
А они оказались поганки,  
И лежат они на тропинке,  
Словно трепетные подранки.*

\* \* \*

*Я иду по снежной просеке,  
Ног не чую под собой,  
А на солнце млеют сосенки,  
Мне качают головой.*

*Ветки в небо упираются,  
А стволы красным-красны.  
Дятел-труженик старается  
Достучаться до весны.*

*Он работает размеренно,  
Верит истово в нее.  
Вот бы все мы так уверенно  
Дело делали свое!*

И хочется разговаривать со всем этим прекрасным миром.

### Чайки в Комарово

*О чем кричите, чайки?  
О чем шумите вы?  
Сердитые хозяйки  
Бессонной пустоты?*

*Ответа нет пока мне, —  
Презренья что ли знак?  
На высохшие камни  
Уселись важно так*

*И думают угрюмо,  
Уставясь на закат,  
Таинственную думу  
Морскому ветру в лад.*

\*\*\*

*Длиннохвостая сорока  
Ковыляет на снегу.  
Что от этого ей проку, —  
Все понять я не могу.*

*Нет ни зерен, ни букашек,  
Только толстый серый наст.  
То она на нем попляшет,  
То призывный клич издаст.*

*То раздвинет с бахромою  
Хвост и крылья, словно шаль,  
И в морозный воздух взмает, —  
И чего-то сразу жаль.*

\* \* \*

*Разбудила меня ворона,  
За окном протяжно крича.  
Морозящий дождь монотонно  
По стеклу стучал и стучал.*

*В предрассветном неверном мире  
Было все смещено чуть-чуть,  
И неточность, и странность томили,  
Искажая предметов суть.*

*Грань меж ними как будто размыло.  
Замер серый день за окном,  
Будто время остановилось  
Перед новым хищным прыжком.*

В декабре 1953 года, когда я училась на пятом, последнем, курсе университета, произошли два весьма важных события в моей жизни. Вторым было мое участие в конференции молодых авторов, а первым, предшествовавшим ему, — то, что я побывала в Доме ленинградских писателей и увидела своими глазами сразу многих известных поэтов, давно знакомых по книгам и журналам. Там проходил грандиозный вечер поэтической лирики с участием не только ленинградских, но и московских гостей. И я никогда бы не решилась на него пойти, если бы меня не позвали ребята из нашего университетского ЛИТО, куда я тогда ходила. Они уже знали дорогу в этот дом на улице Воинова и позвали с собой нас, робких девочек.

Я тогда впервые увидела воочию Ольгу Берггольц, Маргариту Алигер, Веру Инбер, Алексея Суркова и многих других, знакомых мне по стихам. И вдруг объявили какую-то неизвестную Елену Рывину. Мы с моей подругой Тоней Акимовой переглянулись: это еще кто такая? И услышали совсем коротенькое, но вцепившееся в душу

стихотворение: «*Почему, уважаемый зодчий, ваша улица так коротка?*» Оно запомнилось на всю жизнь.

А жизнь выдалась длинная и полная событий. И вот прошло уже несколько десятков лет с того вечера лирики. Я сидела в Бюро пропаганды нашего Союза писателей. Мне хотелось прочитать свои новые стихи знакомой поэтессе, которая была поглощена каким-то деловым разговором, и мне надоело ждать.

— Ну ты послушай, — надоедала я нетерпеливо (уже позабыла, к кому обращалась).

— А вы прочтите Лене, — услышала я мелодичный голос над самым своим ухом.

Это она себя имела в виду. Это вмешалась та самая Елена Рывина. Я не слишком близко была с ней знакома, но ее голос прозвучал с таким участием, что я прочла ей стихи и даже выслушала похвалу.

Прошло еще несколько лет. И вот я уже в качестве общего гостя стою в вестибюле комаровского Дома творчества, а передо мной — только что спустившаяся по лестнице Елена Израйлевна Рывина. Она ласково мне улыбается, протягивает обе руки, берет в них мои и участливо говорит:

— Ну вот, я вас тут уже который раз вижу, вы как-то быстро мелькаете и исчезаете неизвестно куда.

— У меня в этом доме слишком много хороших знакомых, — оправдываюсь я.

— А вы бы хоть раз, — продолжает она, — хоть единственный раз зашли бы в комнату номер тридцать три, где вас любят и ждут! Поговорили бы, почитали бы друг другу стихи!

И мне вдруг становится так стыдно перед Еленой Израйлевной, человеком такой щедрой души. *Почему, уважаемый зодчий, ваша улица так коротка?* И я мысленно даю себе слово, что в следующий раз, когда сюда попаду, непременно начну обход с тридцать третьей комнаты.

Надо будет рассказать, как с тех пор, с самой юности, я запомнила эту строчку...

А на следующий день Елена Израйлевна погибла под проходящим товарняком, который заслонила от нее стоящая у платформы электричка...

Мне когда-то рассказывали, что Рывина не особенно любит Комарово, ее сердцу ближе город Пушкин и его окрестности. Просто так сложились обстоятельства, что пришлось погибнуть у комаровской платформы. И еще слышала я от кого-то из обитателей комаровского Дома, что около платформы были разбросаны шоколадные конфеты «Кара-Кум», ее любимые. Видно, сходила Елена Израйлевна в ближайший магазин, чтобы их купить. Комаровские жители всегда держали у себя в номерах что-нибудь вкусненькое, чтобы было чем угостить тех, кто заглянет в гости. В том числе и меня. Но не пришлось. *Почему, уважаемый зодчий, ваша улица так коротка?*

Через какое-то время я снова заехала в Комарово по дороге на свою родинскую дачу. Не успела взглянуть на доску проживающих, как навстречу мне вышла из своего коридорчика Александра Львовна Андрус:

— Как хорошо, что вы приехали! — обрадовалась она. — Пойдемте ко мне, у меня скоро как раз чай закипит!

Посидеть в номере у Александры Львовны — всегда большое удовольствие. Обязательно расскажет что-нибудь интересное. Она, например, могла прочитать вам напечатанные на листочках на старенькой машинке свои воспоминания о детстве. Родилась она в Харькове в семье врача. Отец хотел, чтобы дочь хорошо знала французский, он даже запрещал ей читать русские книги. А она как раз ими интересовалась больше всего, и по ночам, когда родители спали, тихонько прокрадывалась в библиотеку и знакомилась с сокровищами русской

словесности. Беда, если строгий отец заставлял девочку за этим занятием.

— А что же тогда было? — спрашивала Александру Львовну Зоя Журавлева. (Они дружили, и не только в Доме творчества). — Бил вас головой о батарею парового отопления?

— И это бывало, — вздыхала Андрес.

Однажды как-то Ефим Григорьевич Эткинд спросил своих собеседников в шутку: «Мне надо было бы зайти к Александре Львовне Андрес, но я забыл ее — что?» «Андрес!» — с восторгом ответили ему.

В Доме творчества Александра Львовна предпочитала жить в одном из двух номеров: в четвертом или в одиннадцатом, оба размещались на первом этаже. Ей было уже трудно подниматься по лестнице. Она была старше своих однокашников, потому что первоначально получила образование на Высших курсах иностранных языков. Это образование раньше приравнивалось к высшему, но потом оно перестало считаться высшим, и многие, закончившие эти курсы, поступили в университет на филологический, в том числе и Андрес.

Когда Александра Львовна приезжала по очередной путевке в Комарово, она первым делом заходила в библиотеку Дома, чтобы взять к себе в номер все, что необходимо. Когда я в первый раз пришла навестить ее, она сразу сказала:

— Если вам понадобится словарь Даля, не ищите его в библиотеке: он весь стоит у меня в комнате.

Что полностью опровергает мнение жены одного литературоведа, которая как-то сказала мне, узнав, что я переводчик:

— Ну, переводчику-то здесь очень легко работать: сидишь себе с книжечкой да переводишь.

Она совершенно не представляла себе сути переводческой работы, эта дама. Не имела понятия о том, что никто не «сидит себе спокойно с книжечкой». Чтобы пере-

вести даже детектив с простым языком, требуется много знаний, а если какая-то специфическая лексика попадет-ся, так без десятка специальных словарей не обойтись. И все это Александра Львовна Андрес постигла в совершенстве. Недаром другая искусная переводчица, Эльга Львовна Линецкая, называла ее «настоящим асом перевода». Но это так, к слову пришлось.

Так вот, Александра Львовна встретила меня взволнованно и пригласила к себе.

— Очень у меня голова разболелась, — пожаловалась она. — Сегодня утром сюда позвонили и сказали, что умер Женя Брандис.

Женя Брандис — это Евгений Павлович Брандис, литературовед, специалист по научной фантастике и по детской литературе, автор полного специального указателя детских книг и многих научных статей и книг. Я уже знала, что он умер.

— Очень я скверно себя чувствую, — снова пожаловалась Андрес. — А вы представляете себе, Галочка, как бы я сейчас себя чувствовала, если бы не успела его простить?

Я только молча кивнула. Я об этом могла догадываться. Некоторое время тому назад я оказалась свидетелем того, как она простила его, своего однокурсника.

Я тогда точно так же заехала повидать свою приятельницу Лину Глебову по дороге в Рощино. Лина обрадовалась мне и пригласила в столовую поужинать с ней — у них как раз оказался свободный ужин.

— Только знаешь, — сказала она несколько смущенно. — Тут что-то странное произошло. И я не понимаю, в чем дело. Когда я сюда приехала, стол, где сидела в столовой Александра Львовна, весь освободился: все, кто там сидел, уехали. Она пригласила меня занять место рядом с ней. Ну, ты же понимаешь, это большая честь для любого человека, если Андрес приглашает его за свой стол. Я, естественно, обрадовалась. Два места остались

пока свободными во время обеда. А перед ужином смотрю, в столовую входит Брандис и смотрит растерянно, куда бы пристроиться. Ну, я его пригласила к нам. Он сел, и тут вошла Александра Львовна. Увидела Брандиса — и вдруг, непонятно почему, пересела за другой стол. А я так и не поняла, в чем дело. Сама же меня пригласила...

Я-то прекрасно понимала, почему Александра Львовна пересела.

Моя мама, принадлежавшая к компании выпускников-филологов (хотя сама и училась не в университете!), как-то рассказывала мне, что Евгений Павлович Брандис еще в юности совершил нехороший с точки зрения их компании поступок, который его друзья не считали возможным ему простить. И они сговорились порвать с ним всякие отношения, вплоть до того, чтобы не здороваться при встрече. Александра Львовна Андрес была из этого круга друзей. Но я не сочла нужным сообщать об этом Лине. Я только недоумевающе пожала плечами в ответ на ее рассказ. К чему эти пересуды?

Мы с Линой сели за стол, где уже скучал над стаканом чая Евгений Павлович — он несколько оживился, увидев меня. И тут же меня заметила Александра Львовна. Она поднялась из-за своего стола и подошла к нам, чтобы приветствовать меня.

— Знаете что, девочки? — сказала она. — Зайдите-ка после ужина ко мне в четвертую комнату — поговорить.

И, кивнув своей величественной головой с пышной прической, удалилась к своему столу.

После ужина мы зашли в комнату Лины на третьем этаже (ей понадобилось переменить кое-что из одежды) и вышли из коридора на лестницу, чтобы спуститься вниз, в четвертую комнату, в предвкушении интересного вечера.

И вдруг услышали сзади чьи-то торопливые шаги. Оглянулись — нас догонял Брандис. Но совсем другой Брандис, не тот, который скучал за столом над стаканом

с чаем. Этот Брандис был необыкновенно оживленным и радостным.

— А я тоже иду с вами! — сообщил он. И прежде чем я успела сообразить, что это означает, добавил тоном человека, который боится поверить своему счастью: — МЕНЯ ТОЖЕ ПРИГЛАСИЛИ!

Лиана, конечно, не могла понять, какими большими буквами надо было бы написать эти слова, чтобы с их помощью изобразить сияющую физиономию Брандиса, его блеснувшие счастьем глаза, торжествующую походку — он перешагивал чуть ли не через две ступеньки по надоевшей лестнице. Но я-то все это оценила.

В четвертой комнате мы все уселись вокруг низкого журнального столика, где уже ждали стаканы с только что вскипевшим чаем. Но странный последовал тут разговор. Мы с Линой молчали, от нас вроде бы никто не ждал никаких высказываний. Зато хозяйка комнаты и ее неожиданный гость ни на секунду не умолкали, особенно много говорил Брандис.

— А вы помните, — восклицал он, — как на экзамене Нинка Штемлер со слезами умоляла преподавателя поставить ей тройку, потому что она все равно на более высокий балл не знает, а тот упорно награждал ее четверкой?

И Александра Львовна как-то по-молодому встряхивала своей львиной гривой и весело смеялась:

— Ну конечно, помню! Разве такое забывается? А вы, Женя, помните, как Володька Зайцев сказал...

— А вы помните, как...

У них был свой особый разговор, который означал совсем не то, что они произносили вслух. И припоминание этих студенческих мелочей, и неожиданное «вы» при воспоминаниях юности означало так много. Да, до меня доходило все, что стояло в скобках. Она его простила, мне-то было ясно...

И сейчас, через некоторое время, Александра Львовна чувствовала облегчение от своего поступка.

— Вы понимаете, Галочка, как бы я себя чувствовала, если бы не успела его простить?

Да, я это хорошо понимала.

Я знала, что Евгений Павлович уже давно очень болен. В последние годы своей жизни он щедро помогал молодым литераторам утвердиться в своем призвании, и особенно потому, что остро ощущал свою вину.

Однажды я пришла его навестить. Он уже не вставал с постели. Меня провели к нему. Он вытянул из-под одеяла руку — маленькую, тонкую, точно высохшая палка. И произнес:

— Здравствуйте, Галочка.

Так и остался в памяти — протянутая высохшая, точно палка, рука и сердечное «здравствуйте». Можно бы сказать — «прощайте», а он — «здравствуйте».

Александра Львовна налила в стакан воды из-под крана, сунула в воду кипяtilьник, поставила это сооружение на самый край холодильника, включила, после чего удобно устроилась на стуле рядом с дверцей. Я покачала головой с неодобрением:

— Вы напрасно сюда сели, Александра Львовна. Это очень опасно.

— Но почему?

— Когда вода закипит, стакан зашатается, может потерять равновесие, и кипяток выльется прямо на вас.

— Глупости! Я всегда так делаю себе чай. И ни разу кипяток на меня не выливался.

Несмотря на мою тревогу, все обошлось и на этот раз. Но когда я дней через десять приехала в Комарово по путевке, мне сразу сообщили, что, когда Андрес работала, сидя к холодильнику спиной и заваривая себе в стакане чай именно таким способом, случилось то, о чем ее предупредила не я одна. В момент моего вселения в десятую комнату, соседнюю с комнатой Александры Львовны, Андрес находилась в зеленогорской больнице. Но вскоре ее выписали и привезли назад в ее любимую одиннадца-

тую. Мне пришлось убеждать мою соседку, чтобы она не стеснялась и стучала мне в стенку ночью, если ей срочно что-нибудь понадобится. Правда, она воспользовалась разрешением будить меня всего один раз, когда с нее упало на пол одеяло.

А вообще — жили мы, как всегда, одной большой семьей. Всегда радовались друзьям, которых находили в этом гостеприимном Доме.

Сейчас не помню точно, в каком именно году и в какое время года (кажется, весной), Комарово было охвачено бурей не стихающих ветров, от которых я не могла спрятаться ни в одном укромном уголке своей комнаты. И куда только подевался ее обычный уют! Но хорошо запомнилось, как этот неожиданный климатический выверт способствовал еще больше нашему сближению в борьбе с разбушевавшейся стихией.

## Ветер

*Стволы снаружи корчатся,  
И пыль летит столбом.  
Качается Дом творчества  
И ходит ходуном.*

*Пол, точно в бурю палуба,  
Уходит из-под ног,  
С тягучей нудной жалобой  
Кренился потолок.*

*Ему-то что, беленому?  
Постонет — замолчит.  
Бунтует дверь балконная  
И стеклами бренчит.*

*Писатели-приятели  
Все берегут свой сон.*

*Хотят заткнуть старательно  
И фортку, и балкон.*

*Сидим за баррикадами  
Столов, кроватей, книг.  
Побыть в покое рады мы,  
Чтоб ветер не проник.*

*Но гнутся, стонут, корчатся  
Деревья за окном.  
Вибрирует Дом творчества,  
И нас качает в нем.*

*От бурь и стрессов времени  
Не спрячешься в щели...  
«Услышите же скорей меня!» —  
Зовет нас шторм. «Пошли!»*

Но когда-нибудь даже этот безумный ветер стихает,  
и наступают мир и покой.

### Туман

*Он мягко выполз из-под елок,  
Седой туман,  
Покойный, словно спальный пол  
Или обман.*

*И все свободное пространство  
Он заволок,  
Остался чистым от убранства  
Лишь потолок.*

*Он воровато прятал вещи  
В преддверьи дня,*

*Смыкался хмуρο и зловеще  
Вокруг меня.*

*И в ослеплении считал он,  
Что так могуч...  
Но где-то зрел, я это знала,  
Рассветный луч.*

### Луна

*Она смотрела на меня  
В раскрытое окно,  
Как будто серебром звеня,  
И не было темно.*

*Как будто был любой предмет  
Облит ее теплом.  
Слегка покачивался свет  
Над письменным столом.*

*Пусть отраженный, но живой,  
Пусть холодны лучи,  
Пусть он нарушил мой покой, —  
Он грел меня в ночи.*

Настанет новый день — и опять захочется пуститься за вдохновением к заливу.

\*\*\*

Электричка остановилась, двери вагонов раздвинулись в стороны, люди поспешно начали выходить на ожидавшую их платформу. Вышла и Мира Абрамовна Шерешевская, переводчица прозы. К ней обратились две незнакомки, растерянно оглядывавшиеся кругом:

— Скажите, пожалуйста, где тут могила Марины Цветаевой?

Шерешевская была женщина суровая, она много лет преподавала в вузе английский и привыкла не жалеть язвительной иронии в беседах с нерадивыми студентами. Ответ так и отскочил от ее готового к насмешке языка:

— Тот, кто узнает, где могила Марины Цветаевой, произведет целый переворот в литературоведении!

(На самом-то деле это не совсем так. На самом деле переворот мог бы произвести тот счастливец, которому удалось бы обнаружить где-то неизвестные стихи этой поэтессы, но можно простить Мире Абрамовне эту неточность за быстроту реакции. В далекой от нас Елабуге до сих пор никто не обнаружил могилу Цветаевой.)

Этот маленький анекдот, который Шерешевская рассказала нескольким друзьям в Доме творчества, однако же, красноречиво говорит о всеобщем интересе к деятелям русской поэзии. И о желании людей приобщиться к своей культуре. Неважно, о Марине Цветаевой или об Анне Ахматовой речь.

Но — шутки в сторону. Комаровское кладбище — это такая достопримечательность Комарово, как и Финский залив. А многие люди, как мы убедились, считают своим долгом специально съездить в Комарово, чтобы взглянуть на кладбище и почтить тех, кто удостоился чести быть там похороненными.

Однажды, когда я возвращалась довольно поздно вечером в свою комнатку в комаровском Доме, меня сопровождала незнакомая женщина, которой было по пути со мной. Когда мы подходили к ограде Дома, она сообщила мне таинственным полупшепотом:

— Вот в этом доме Вера Панова жила. «Спутники» она написала, слышали? Так она тут жила, старушкой уж сделалась, ходить не могла, ее всё в инвалидной коляске возили, а был у нее любовник молодой. Так уж он ее любил! Любовник этот и сделал ей из досок помост специальный, чтобы коляску инвалидную на крыльцо поднимать, и с той стороны у выхода так же.

Я просто рот разинула от такого неожиданного рассказа. Действительно, входные двери в корпус с обеих сторон были оборудованы досками поверх крылец, но я-то отлично знала, что известная писательница, трижды лауреат Вера Федоровна Панова не имела к этим доскам никакого отношения. Их настелили работники Дома, заботясь об удобстве поэтессы Галины Гампер, которая и вправду не могла ходить, ее возили в инвалидной коляске — и не только по территории Дома (она в шестилетнем возрасте перенесла полиомиелит, я еще когда-нибудь напишу о ней отдельно!). Я сначала терпела, но все-таки не выдержала и поправила рассказчицу. Она возмутилась:

— Да как же так! Был у Веры Пановой молодой любовник, вот сходите-ка на кладбище, поглядите — они в одной могиле похоронены, там написано: ВЕРА ПАНОВА и... как его там...

— Это ее сын с ней похоронен.

— А там не Панов, другая фамилия! — торжествовала она.

— Так ведь дети обычно наследуют фамилию отца, а не матери! — объяснила я устало. — Отцом его был Борис Вахтин, и сына звали Борис Вахтин. И вообще, я уже пришла, спасибо за компанию.

Моя случайная спутница недовольно погрузилась в темноту наступавшей ночи, а я зашагала к деревянному покрытию каменного крыльца и грустно подумала: «Вот так рождаются легенды!».

\*\*\*

Как-то я приехала в Дом писателей навестить свою приятельницу Киру Федоровну Куликову, театроведа.

— Как хорошо, что вы приехали! — обрадовалась она. — Вы знаете, кто недавно прибыл в наш Дом из Москвы? Вдова Ивана Антоновича Ефремова, Таисия Иосифовна.

Иван Антонович Ефремов был хорошо известен, особенно любителям научной фантастики. Это был много-сторонне развитый человек, и он считал, что будущее именно за такими людьми. Сам он был археологом-палеонтологом, историком-футурологом. Но главное — он был писателем, автором художественных произведений, которыми увлекалось множество читателей.

— Таисия — удивительная женщина, — продолжала Кира Федоровна, вставляя кипяtilьник в приготовленный заранее и наполненный свежей водой керамический кувшинчик. — Иван Антонович писал с нее Таис Афинскую. Впрочем, хотите, я вас с ней познакомлю? Сейчас приглашу ее попить с нами чаю.

Я, разумеется, не стала отказываться от столь интересного знакомства — роман Ефремова «Таис Афинская» я, конечно же, читала.

Хозяйка комнаты вскоре вернулась в сопровождении стройной изящной женщины, поступь которой была так легка, что она как будто бы вовсе не касалась пола. Нас представили друг другу. Кира Федоровна поставила на журнальный столик вазочку с конфетами и глубокую тарелку с печеньем «Садко». Я вслух припомнила сочиненные как-то одной моей подругой строки:

*Печенье «Садко»  
Сладко  
И шоколадно, —  
Ладно!*

Немного посмеялись, хотя немудрящий стишок особого восторга не вызвал. И тут я, чтобы снять некоторое неловкое напряжение, стала рассказывать о том, как мне в руки в 1962 году случайно попал сборник фантастических рассказов, изданный в США в 1959-м («Лучшие научно-фантастические рассказы года»), и как я, не имея представления о том, чья это книга, прочла ее всю и вы-

делила три рассказа, которые понравились мне больше всего. А из этих трех отметила один — «Музыкакодел» Питера Биггла-младшего. Я тогда прочно сидела дома с только что родившимся ребенком. Меня увлек рассказ о будущем музыкального искусства, когда оно исчезает, растворяясь в ремесленном «музыкакодельстве». Но высокое искусство вечно. Хватит и одного отмеченного им человека, чтобы вернуть людям настоящую музыку. И я принялась этот прекрасный рассказ переводить. Я тогда еще никакой прозы не трогала, но мне казалось, что раз я умею переводить стихи, проза меня ничуть не затруднит. Не тут-то было! Пришлось несколько раз переписывать «Музыкакодела», пока не получилось то, что надо. Всем, кто заправлял тогда секцией научной фантастики, рассказ понравился, перевод тоже стал выглядеть вполне прилично, и вскоре моя работа была опубликована в московском сборнике научной фантастики.

Я тогда не подозревала, откуда мой муж принес изданный в США сборник. Между тем, книгу эту когда-то взял почитать у Ефремова археолог Борис Стависский, который был с Иваном Антоновичем в одной экспедиции. Прошло несколько лет, и Ефремов стал требовать книгу обратно, но Стависский к тому времени совершенно позабыл, что отдал ее приятелю. Он тщательно обыскал всю свою квартиру, но книги не оказалось даже под диваном, куда, по свидетельству жены, Борис усердно лазил несколько раз. Наконец, выяснилось, что книгу взял у Бориса друг моего мужа, который передал ее мне, надеясь, что я захочу перевести оттуда какой-нибудь рассказ. Круг замкнулся, и Ефремов получил назад свою книгу.

— Иван Антонович, как мне передавали, — закончила я свою историю, — тогда сказал, что он вдвойне обрадован, потому что не только получил, наконец, принадлежащую ему книгу, но и узнал, что такой замечательный рассказ из нее вышел в русском переводе.

Немного помолчали. Потом вдова Ефремова сказала:  
— Он любил осень в Комарово, в Келломяках, когда все курортники и дачники уезжают в город.

— Расскажите, как вы выполнили его последнее желание.

Таисия неохотно ответила:

— Ну, он давно просил, чтобы, когда придет его час, я не хоронила его прах, а развеяла над его любимой страной, над Индией. Я обещала. Как я могла не сдержать обещание? Хотя это оказалось не так просто. Трудно было достать путевку в Индию. Остальное — гораздо проще.

Я была потрясена. Никогда раньше об этом не слышала. Конечно, тому, кто читал «Лезвие бритвы», понятно такое желание писателя...

— Я ведь специально взяла путевку в Комарово, чтобы побывать на его могиле. Как жаль, что никто не может проводить меня на кладбище.

Комаровское кладбище находится довольно далеко от Дома творчества, на самом краю поселка. Я хорошо его знала, бывала там много раз. Я помнила эту могилу, необычно простую и строгую, не раз читала написанную крупными золотыми буквами скромную надпись:

### ИВАН ЕФРЕМОВ (1908–1972)

Так что я предложила Таисии свои услуги в качестве проводника.

В назначенный день мы опять встретились в номере у Киры Федоровны и отправились в путь. Вдова Ефремова крепко держала в руке небольшую плетеную корзину, в ее щели выглядывали зеленые и желтые веточки. Наверное, в глубине корзины прятались осенние цветы. По дороге говорили о многих вещах (я уже позабыла, о чем именно), кроме одного: куда и зачем направляемся. Впрочем, *куда* — известно и было бы лишним об этом упоминать, а вот *зачем*... Признаться, мне это было не

совсем понятно. Я все неловко размышляла: ведь если правда то, что Таисия нам с Кирой рассказывала о последнем желании своего мужа, то что же в комаровской могиле? Но не спрашивать же было у нее.

Только потом я узнала, что скромная могила писателя и ученого по-гречески называется КЕНОТАФ, то есть пустая могила. Древние греки так хоронили павших в бою доблестных воинов: ведь невозможно было отыскать на поле боя их тела. Вот и сооружали вдалеке от поля битвы пустую могилу и отдавали герою почести. Но об этом я узнала много позже. А Таисия знала уже в тот осенний день, когда мы с ней вдвоем шагали к кладбищу, где светилась золотыми буквами строгая надпись: «ИВАН ЕФРЕМОВ».

На кладбище я сразу провела вдову к этой могиле. Она поклонилась ей и присела на низенькую скамеечку рядом, продолжая сжимать в руке корзину с цветами. Я посмотрела на ее отрешенное лицо и поняла, что она теперь где-то страшно далеко от меня. Я поняла, что сейчас не нужна ей и чуть слышно сказала:

— Я пока поброжу вокруг, у меня тут много своих. А потом вернусь сюда за вами — и мы вместе пойдем назад.

Она молча кивнула и стала не спеша открывать свою корзину.

Я медленно обошла почти все кладбище. У некоторых могил останавливалась подольше. Это были люди, которых я знала. Иных только по имени — как, скажем, Ахматову или Веру Панову. А сына Пановой, Бориса Вахтина, я немного знала. Теперь он лежит в той же оградке, где похоронена мать. Вспомнила ту женщину, с которой мы шли с электрички однажды вечером. Выдумают же люди — молодой любовник! Я постояла у оградки и вспомнила, как впервые прочитала роман Пановой «Спутники» — в городе Молотове, в эвакуации. В журнале «Знамя». Мне тогда было лет двенадцать. А с Борей Вахтиным меня когда-то познакомил мой муж Василий...

Вот памятник на могиле Наума Яковлевича Берковско-го — он был моим научным руководителем, когда я по-ступила в аспирантуру. Вот здесь похоронен переводчик Владимир Ефимович Шор, я его хорошо знала, как и его жену, Инну Яковлевну Шафаренко, тоже переводчицу, и их дочку Юленьку... А вот Наташа Долинина, она когда-то ходила здесь с нами на лыжах... Могила Дмитрия Ев-геньевича Максимова. Он был одним из первых наших университетских преподавателей, читал курс введения в литературоведение и принимал первый студенческий экзамен. На его похоронах я в свое время была. Как раз в то время жила в Доме творчества. Было объявлено, что для желающих проститься с Дмитрием Евгеньевичем от Дома поедет автобус, а пообедать желающим поехать на кладбище можно будет пораньше. Мы обедали вместе с моим однокурсником Сашей Ниновым. Я все вспоми-нала, как в последний раз разговаривала с Максимовым. Я стояла на крыльце, а он вышел из Дома и пытался по-глядеть на висящий за дверью градусник, но, как ни при-щуривался, не мог ничего увидеть. И тогда спросил меня, сколько градусов. Я ответила, а потом, совершенно не-впопад, сказала:

— А вы знаете, я ведь на первом курсе слушала вас — и экзамен вам сдавала.

Очень уж мне охота было напомнить, что мы давно знакомы. Он спросил:

— Да ну? Небось пятерку получили!

— Конечно, — подтвердила я, — а то бы не стала вам напоминать!

А когда мы с Сашей Ниновым хлебали щи в опустев-шей столовой, Саша мне напомнил:

— Он вошел к нам в актовъй зал, поднялся на сцену и сказал: «Я должен вам прочесть курс лекций по введе-нию в литературоведение. Я никогда раньше этого курса не читал и не взялся бы за него, но меня попросили. По-этому я заранее прошу у вас прощения, если что-нибудь

получится не так». И после этих слов блестяще прочел нам свой курс!

Да, конечно, я это помнила. Помнила тогда, в разговоре с Сашей, помню и сейчас, стоя над могилой Дмитрия Евгеньевича...

\* \* \*

*Лежат в земле сырой  
Мои учителя  
В мороз, и в дождь, и в зной,  
И пухом им земля.*

*Их прах земля хранит,  
Пути судьбы круты,  
И высится гранит,  
И шелестят листья.*

*Прихватит ли беда,  
Удач ли полоса, —  
Я прихожу сюда  
И слышу голоса.*

*В могильной тишине  
Прозрение придёт:  
Тепло их душ во мне  
И мудрости полёт.*

*Лежат в земле сырой...  
Хоть нас связует нить,  
Мне всё теперь — самой,  
И некого спросить.*

*И грустно, и темно...  
Но душу жжёт опять,  
Чтоб всё, что мне дано,  
Мне дальше передать.*

Я и сама не заметила, как со своими мыслями о людях, которым стольким обязана, вышла к низенькой скамеечке, где оставила свою спутницу. Теперь она уже поджидала меня с явно опустевшей корзиночкой на коленях. У нее было успокоенное лицо человека, хорошо выполнившего свое дело. И мы двинулись в обратный путь, озабоченные только тем, чтобы не опоздать к обеду.

\*\*\*

А насчет следующего моего стихотворения, которое служит эпилогом к этой книжке, могу сказать: я очень хорошо помню, как его написала. И его появлению я целиком обязана комаровскому Дому творчества.

Мы всей дружной компанией сидели в одной из комнат нашего теплого Дома и смотрели телевизор. Шла передача об Иосифе Бродском — автором был Яков Гордин. В одном месте он сказал, цитируя своего героя:

— Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге.

На следующий день, теплый и солнечный не по осеннему, я отправилась погулять в одиночестве, по обыкновению захватив с собой записную книжку. По дороге попалась освещенная солнцем скамейка. Я села — и не встала до тех пор, пока в книжке не появилось законченное стихотворение, будто мне его кто-то продиктовал.

\*\*\*

*Поэты всегда возвращаются —  
во плоти или на бумаге.*

Иосиф Бродский

*Возвращаются поэты  
Из губительных изгнаний,  
Из темниц и эмиграций,  
И из тьмы небытия.*

*Из запрета — и из Леты —  
Возвращаются поэты  
В благодарный шум оваций,  
В первозданные края.*

*Возвращаются поэты  
Молодыми и живыми,  
Пусть могилы на чужбине  
Равнодушно скрyli прах.  
Что бессмертному могила?  
Вещих слов взрывная сила  
В воздухе бушует ныне  
И останется в веках.*

*Возвращаются поэты,  
Чтоб поведать нам секреты,  
Как собою оставаться  
В час, когда грозит петля.  
Памятью людской согреты,  
Возвращаются поэты, —  
Значит, солнце не погасло,  
Значит, вертится Земля!*

# СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. КЕЛЛОМЯКИ (1945–1948).....	3
Мы едем в Келломяки. ....	3
Дом композиторов .....	13
Дача радиокомитета. ....	23
Дом писателей .....	27
«Кошкин дом» .....	30
ЧАСТЬ II. КОМАРОВО .....	40

Руководитель  
редакционно-издательского отдела

*Илья Проворов*

Верстка

*Юлия Степанова*

Корректурa

*Надежда Строганова*

*Валентина Герасименко*

Оформление

*Юлия Степанова*

Подписано в печать 05.09.2017. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>  
Печать офсетная. Гарнитура «Petersburg». Объем 3 п. л.  
Тираж 500 экз. Заказ №К-1736.

ООО «Издательство ДЕАН»  
191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 17  
Тел. (812) 712-27-40

*Редакционно-издательский отдел:*

Тел. (812) 575-59-01

E-mail: [izdat@deanbook.ru](mailto:izdat@deanbook.ru)

*Отдел продаж:*

Тел./факс: (812) 764-52-85

E-mail: [zakaz@deanbook.ru](mailto:zakaz@deanbook.ru)

[www.deanbook.ru](http://www.deanbook.ru)

Отпечатано в АО «ИПК „Чувашия“»  
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13



ISBN 978-5-9909072-2-5



9 785990 907225



[www.deanbook.ru](http://www.deanbook.ru)